

# Кролик, беги

**Автор:**

Джон Апдайк

Кролик, беги

Джон Апдайк

Гарри Кролик Энгстром #1

Двадцатилетний Гарри Энгстром по прозвищу Кролик когда-то блистал на баскетбольной площадке и был парнем хоть куда. Но сейчас он занят рекламированием кухонных принадлежностей – мягко говоря, не самое интересное занятие на свете... Желая вырваться из тоскливой повседневности (работа – жена – ребенок), Кролик отправляется в «бега». Так начинается великое паломничество Гарри Кролика в поисках себя, или, другими словами, первый и самый знаменитый роман Джона Апдайка из серии книг о Кролике.

Джон Апдайк

Кролик, беги

Благие порывы, жестокосердие, внешние обстоятельства.

Паскаль. Мысли, 507

Мальчики играют в баскетбол вокруг телефонного столба, к которому привинчен щит. Мелькают ноги. Крики. Шарканье и шуршание кедров по гравию катапультируют их голоса в высокую влажную синеву мартовского неба над проводами. Кролик Энгстром идет по переулку, на нем строгий деловой костюм, и, хотя ему двадцать шесть лет и росту в нем шесть футов три дюйма, он останавливается посмотреть. Для кролика он, пожалуй, высоковат, но широкое

белое лицо, бледно-голубые радужки, нервное подергивание верхней губы под коротким носом, когда он втыкает в рот сигарету, отчасти объясняют это прозвище, которым его наделили, когда и он тоже был мальчишкой. Он стоит и думает: ребята подрастают, теснят тебя со всех сторон.

Мальчишкам его присутствие кажется странным. Они играют для собственного удовольствия, а вовсе не напоказ какому-то взрослому дяде, который шляется по городу в двубортном пиджаке цвета какао. Вообще непонятно, почему взрослый идет по переулку пешком. Где его автомобиль? Сигарета придает ему и вовсе угрожающий вид. Может, он из тех, кто за сигареты или деньги предлагает прогуляться за фабрику искусственного льда? Про такие фокусы они уже слыхали, но их так просто не запугаешь – их ведь шестеро, а он один.

Мяч, отскочив от обода, пролетает над головами шестерых и падает к ногам одного. Стремительность короткого рывка, с которой он хватается мяч, приводит их в изумление. Притихнув, они смотрят на его темный силуэт – ни дать ни взять заводская труба, внезапно возникшая на фоне весенних небес. С прищуром глядя сквозь голубое облачко табачного дыма, он осторожно переставляет ноги и, растопырив пальцы, нервно крутит перед собою мяч. На ногтях белеют широкие полумесяцы. Человек внезапно приседает, и мяч, словно скользнув по правому отвороту пиджака, срывается с его плеча, летит как будто даже не к щите – он туда вовсе и не метил, – падает прямиком в корзину и, скромно шелестя, пролетает через сетку.

– Эге! – гордо выкрикивает Кролик.

– Случайность, – роняет какой-то мальчик.

– Мастерство, – отзывается он. – Можно я с вами поиграю?

Вместо ответа мальчишки обмениваются недоуменными взглядами. Кролик снимает пиджак, аккуратно его складывает и кладет на чистую крышку мусорного ящика. Позади снова начинают метаться саржевые комбинезоны. Ринувшись в самую гущу, он выхватывает мяч из чьих-то слабых белых рук. Знакомое ощущение туго натянутой кожи возрождает в теле прежнюю упругость. Ему кажется, будто он сквозь далекие годы возвратился назад. Руки, как крылья, сами собою взмывают ввысь, и резиновый шар от макушки его головы несется к корзине. Недолет. Прицел казался ему настолько точным, что,

увидев падающий мяч, он изумленно шурится, и на секунду у него мелькает мысль, уж не пролетел ли мяч сквозь обод, не задев сетки.

– Эй, за какую команду я играю?

Краткая безмолвная суматоха, и к нему командируют двух мальчишек. Трое против четверых. Хотя Кролик с самого начала занял невыгодное положение в десяти футах от корзины, это все равно не справедливо. Никто не пытается вести счет. Угрюмое молчание его раздражает. Ребята перебрасываются односложными замечаниями, но ему никто не смеет сказать ни слова. В разгар игры он чувствует, как они толкуются у него под ногами, горячатся, злятся, пытаются подставить ему ножку, однако все еще держат язык за зубами. Он не нуждается в таком уважении, он хочет сказать им: то, что я взрослый, – это ерунда, это никакой роли не играет. Минут через десять один его партнер переходит на сторону противника, и теперь Кролик Энгстром со вторым мальчуганом остаются вдвоем против пятерых. Этот мальчик, еще маленький, но уже застенчивый, неуверенный в себе, однако легкий на ногу, – самый лучший изо всей шестерки; вязаная шапочка с зеленым помпоном, натянутая по самые брови, придает ему идиотский вид. Он – прирожденный талант, самородок. Стоит только посмотреть, как он двигается – не ступает, а как бы парит над землей. Если ему повезет, он со временем станет классным спортсменом, чемпионом школы. Кролику это знакомо. Постепенно поднимаешься со ступеньки на ступеньку на самый верх, все кричат «ура», пот слепит тебе глаза, волна шума и крика возносит тебя ввысь, а потом ты выходишь из игры – вначале ты еще не забыт, но все равно ты вышел из игры, и тебе хорошо, прохладно и привольно. Ты вышел из игры, ты как бы растворился и, поднимаясь все выше и выше, становишься для этих ребят просто какой-то частью мира взрослых, частью неба, что всегда висит у них над головами в городе. Они его не забыли, хуже – они о нем просто никогда не слыхали. Между тем в свое время Кролик был знаменитостью округа, в младшем классе средней школы он поставил рекорд в командных состязаниях лиги Б, в выпускном классе сам же его перекрыл, и этот последний рекорд был перекрыт лишь через четыре года, то есть четыре года назад.

Он забрасывает мяч в сетку одной рукой, двумя руками, одной рукой снизу, стоя на месте, с поворота, с прыжком, двумя руками от груди. Мяч мягко и плавно летит вперед. Он счастлив, что в его руках все еще живет сила. Он чувствует, что стряхнул с себя долгое уныние. Однако тело стало грузным, и у него начинается одышка. Он запыхался, и это его бесит. Когда пятерка начинает

стонать и медлить, а какой-то парнишка, нечаянно сбитый им с ног, встает и с измазанной физиономией ковыляет прочь, Кролик охотно сдается.

– Ладно. Старик пошел. Трижды ура, – говорит он и, обращаясь к своему партнеру с помпоном, добавляет: – Ну пока, ас.

Он преисполнен благодарности к этому мальчишке, который с бескорыстным восхищением не сводил с него глаз еще долгое время после того, как остальные угрюмо надулись. Самородки, они знают, что к чему.

Захватив сложенный пиджак, Кролик убегает, держа его в одной руке, точно письмо. По переулку. Мимо заброшенной фабрики искусственного льда с прогнившими деревянными желобами вдоль погрузочной платформы. Мимо мусорных ящиков, гаражей, путаницы мертвых прошлогодних цветов в загородках из проволочной сетки. Стоит март. Все начинается сначала. В прозрачном от любви, горьковатом воздухе Кролик чувствует обещание чего-то нового и, вытащив из оттопыренного кармана рубашки пачку сигарет, не замедляя шага, швыряет ее в чей-то открытый мусорный бачок. Он очень доволен собой; его верхняя губа поднимается, обнажая зубы. Большие замшевые башмаки глухо шлепают по кучам мусора в переулке.

Он бежит. У перекрестка сворачивает на другую улицу. Это Уилбер-стрит в поселке Маунт-Джэджд, предместье города Бруэра, пятого по величине в штате Пенсильвания. Бежит в гору. Мимо группы больших домов – крепостей из кирпича и цемента с дверями из цветных стекол и окнами, уставленными цветочными горшками. Еще на пол-улицы выше, мимо жилого района, возведенного одним махом в тридцатые годы. Сдвоенные деревянные домики лесенкой взбираются по склону холма. Пространство высотой около шести футов, на которое каждый из них возвышается над соседним, занято парой тусклых окон, широко расставленных, словно глаза какого-то зверя, и обито деревянной дранкой всевозможных оттенков, от цвета кровоподтека до цвета навоза. Облупившиеся фасады некогда были белыми. Здесь же вытянулись в ряд десятка полтора трехэтажных домов, каждый с двумя входными дверями. Седьмая дверь – его. Деревянные ступеньки истерлись, под лестницей кучка мусора, из которой торчит забытая игрушка – пластмассовый клоун. Он провалялся там всю зиму, но Кролик думал, что в конце концов какой-нибудь малыш за ним придет.

Запыхавшись, он останавливается в полутемном вестибюле. Здесь даже днем горит запыленная лампочка. Над коричневой батареей висят три пустых жестяных почтовых ящика. По другую сторону коридора обиженно смотрит закрытая дверь соседа, живущего этажом ниже. В доме всегда чем-то пахнет, но Кролик никак не может определить, чем именно, – то ли вареной капустой, то ли ржавым дыханием парового отопления, то ли просто каким-то мягким веществом, которое гниет в стенах. Он поднимается на самый верх, в свою квартиру.

Дверь заперта. Он вставляет в замок маленький ключ, и рука его дрожит от непривычного напряжения. Металл скрежещет. Открыв дверь, он видит, что его жена сидит в кресле со стаканом коктейля «Старомодный» и, приглушив звук, смотрит телевизор.

– Ты здесь, – говорит он. – Зачем же ты заперла дверь?

Она глядит на него мутными темными глазами, покрасневшими от долгого сидения у телевизора.

– Она сама захлопнулась.

– Сама захлопнулась, – повторяет он, однако наклоняется и целует ее гладкий лоб. Она миниатюрная, кожа у нее оливковая и такая тугая, словно что-то набухающее внутри изо всех сил стремится растянуть ее маленькое тело. Ему кажется, что она еще вчера была хорошенькой. Двух крохотных морщинок в уголках рта оказалось достаточно, чтобы сделать его жадным; волосы так поредели, что под ними ему все время чудится череп. Эти мельчайшие признаки старения появились совсем незаметно, поэтому вполне возможно, что завтра они исчезнут и Дженис снова станет его девушкой. Он пытается шуткой вернуть ее в это состояние.

– Чего ты боишься? Кто, по-твоему, может войти в эту дверь? Эррол Флинн?

Она не отвечает. Он аккуратно расправляет пиджак, идет к стенному шкафу и достает проволочные плечики. Стенной шкаф выходит в гостиную, и его дверца открывается лишь наполовину, потому что как раз перед нею стоит телевизор. Кролик старается не задеть провод, воткнутый в розетку по другую сторону дверцы. Однажды Дженис, особенно неуклюжая от беременности и пьянства,

запуталась ногой в проводе и чуть не уронила на пол стосорокадевятидолларовый телевизор. К счастью, Кролик успел подбежать как раз в тот момент, когда телевизор еще болтался на проволоке, а Дженис еще не начала судорожно дергать ногой в приступе панического страха. Почему она стала такой? Чего она боится? Со свойственной ему аккуратностью он ловко просовывает плечики в пиджак и, протянув длинную руку, вешает его на разрисованную трубку рядом с остальной своей одеждой. Может, снять с петлицы эмблему фирмы? Пожалуй, нет – завтра он наденет этот же костюм. У него всего два костюма, не считая темно-синего, слишком теплого для этого сезона. Он нажимает дверь, она со щелчком захлопывается, но тотчас снова приоткрывается на дюйм или два. Вот доука – мало того что, открывая замок, руки его по-стариковски дрожали, тут еще Дженис сидит и слушает этот скрежет.

– Если ты здесь, то где же автомобиль? На улице его нет, – спрашивает он, обернувшись.

– Он возле маминого дома. Отойди, ты мне мешаешь.

– Возле маминого дома? Черт знает что. Лучше места ты не нашла?

– Что там случилось?

– Где «там»? – Он отходит в сторону, чтобы не загромождать ей экран.

Она смотрит, как группа детей по прозвищу «Мышкетеры» исполняет музыкальный номер, в котором Дарлен играет парижскую цветочницу, Кэбби – полисмена, а этот высокий ухмыляющийся парень – романтического героя. Он, Дарлен, Кэбби и Карен (в костюме старой француженки, которой полисмен Кэбби помогает перейти улицу) танцуют.

Потом идет рекламная передача, в которой пять долек шоколадки «Тутси» вылезают из обертки и превращаются в пять букв: «Т-у-т-с-и». Они тоже танцуют и поют. Все еще продолжая петь, они залезают обратно в обертку. От обертки, как от стены, отражается эхо. Ишь ты, сукин сын, здорово придумал. Он видел это уже сто раз, и на этот раз его начинает мутить. Сердце все еще трепещет, в горле пересохло.

– Гарри, у тебя нет сигареты? – спрашивает Дженис. – Мои кончились.

– А? По дороге домой я выкинул всю пачку в мусорный ящик. Бросаю курить. – Ему непонятно, что кто-то может думать о курении, когда его так тошнит.

Дженис наконец взглядывает на него:

– Выкинул в мусорный ящик! Колоссально. Ты не пьешь, а теперь и курить бросил. Ты что, в святые готовишься?

– Ш-ш-ш!

Появился великий Мышкетер Джимми – взрослый мужчина с круглыми черными ушами. Кролик внимательно за ним следит, он его уважает и надеется перенять у него что-нибудь полезное для своей работы – он демонстрирует в бруэрских магазинах дешевых товаров одно кухонное приспособление. Он уже целый месяц занимается этим делом. «Пословицы, пословицы, о, как они верны, – поет Джимми, бренча на гитаре, – пословицы говорят нам, что делать, пословицы помогают нам всем стать хорошими „Мышкетерами“».

Убрав свою гитару и свою улыбку, Джимми вещает с экрана: «Познай самого себя, сказал некогда один мудрый старый грек. Познай самого себя. Что это значит, дорогие мальчики и девочки? Это значит – будьте сами собой. Не стремитесь быть такими, как Салли, Джонни или Фред, оставайтесь сами собой. Господь не хочет, чтобы дерево стало водопадом, а цветок – камнем. Господь наделяет каждого из нас своим особым талантом». Дженис и Кролик непривычно притихли, они оба верующие. При упоминании имени Божьего их охватывает чувство вины. «Господь хочет, чтобы одни стали учеными, другие художниками, а третьи – пожарными, врачами или акробатами. И Он наделяет каждого из нас особыми талантами, необходимыми для этой цели, но при условии, что мы будем трудиться, стараясь их развить. Мы должны трудиться, мальчики и девочки. Итак: познай самого себя. Научись распознавать свои таланты, а потом трудись, стараясь их развить. Таков путь к счастью». Джимми сжимает губы и подмигивает.

Это было здорово. Кролик пытается повторить трюк: сжать губы, подмигнуть, собрать своих зрителей и вместе с ними двинуться на незнакомого врага, который скрывается у них за спиной – будь то Уолт Дисней или Фирма

Универсальных Чудо-Терок. Ясно, что все это обман, но, черт подери, надо же привлечь публику. Мы все связаны одной веревочкой. Весь мир держится на обмане. Он – основа нашей экономики. Витэкономия – пароль современной домашней хозяйки, одно-единственное слово, означающее сохранение витаминов посредством Универсальной Чудо-Терки.

Дженис встает и, когда на экран пытается прорваться выпуск последних известий, выключает телевизор. Световая звездочка медленно гаснет.

– Где малыш? – спрашивает Кролик.

– У твоей мамы.

– У моей мамы? Автомобиль у твоей мамы, малыш – у моей. Господи, как ты умеешь все запутать!

Она встает, и он приходит в бешенство при виде тупой бесформенной глыбы, в которую превратила ее беременность. На ней специальная юбка с U-образным вырезом на животе. Из-под блузки торчит белый полумесяц комбинации.

– Я устала.

– Еще бы. Сколько ты их выпила? – указывает он на стакан «Старомодного».

– Я завезла Нельсона к твоей маме по пути к моей. Мы с ней собирались в город, – пытается объяснить она. – Мы поехали на ее автомобиле, прошлись по магазинам, посмотрели выставку весенней одежды в витринах, и она купила себе на распродаже у Кролла такой хорошенький шарфик. Из пестрого кашемира, шотландский. – Она запинается, ее узкий язычок заблудился между двумя рядами тусклых зубов.

Ему становится страшно. Когда Дженис смущена, на нее страшно смотреть. Глаза сердито вылезают из орбит, нижняя челюсть отвисает, рот превращается в дурацкую щель. С тех пор как на ее лоснящемся лбу образовались залысины, ему все время кажется, что она стала хрупкой, неподвижной и перед ней теперь одна-единственная дорога – к еще более глубоким морщинам и еще более редким волосам. Женился он сравнительно поздно, двадцати четырех лет, и,



хотя Дженис к тому времени уже два года как окончила среднюю школу, она все еще оставалась подростком с маленькими робкими грудями – когда она лежала, они превращались в плоские мягкие бугорки. Нельсон родился через семь месяцев после свадебной церемонии в епископальной церкви, роды были долгими и трудными, и от этого теперешний страх Кролика сливается с тогдашним и переходит в нежность.

– А ты что купила?

– Купальник.

– Купальник? В марте! Брр!

На мгновение она закрывает глаза; от легкого запаха алкоголя его охватывает отвращение.

– Мне казалось, что, если я его куплю, он тогда скорее будет мне впору.

– Чего тебе не хватает? Другим женщинам нравится быть беременными. Какого черта ты такая чуднбля? Ну скажи, почему ты такая чудная?

Она открывает свои карие глаза, они наполняются слезами, слезы переливаются через края нижних век и текут по щекам, порозовевшим от обиды, а она смотрит на него и очень вдумчиво выговаривает:

– Ах ты, сукин сын.

Кролик подходит к жене, обнимает ее, живо ощущает горячее от слез дыхание, смотрит в налитые кровью глаза. В припадке нежности он опускается на колени, пытается прижаться к ее бедрам, но ему мешает ее большой живот. Он поднимается во весь рост и, глядя на нее сверху вниз, говорит:

– Ладно. Значит, ты купила купальник.

Отгородившись от мира его грудью и руками, она горячо произносит:

– Не убегай от меня, Гарри. Я люблю тебя.

Он никак не думал, что она сохранила такую горячность.

- А я люблю тебя. Ну, так что же дальше? Ты купила купальник.

- Красный, - говорит она, грустно прижимаясь к нему. Однако, когда она пьяна, ее тело приобретает какую-то хрупкость, неприятную на ощупь разболтанность. - С такой завязочкой на шее и с плиссированной юбочкой, которую в воде можно снять. Потом у меня так разболелись вены на ногах, что мы с мамой спустились в подвал у Кролла и взяли шоколадное мороженое с содовой. Они переделали все кафе, теперь там нет стойки. Но ноги у меня все равно так болели, что мама отвезла меня домой и сказала, что ты можешь сам взять машину и Нельсона.

- Черта с два, наверно, это не у тебя, а у нее болели ноги.

- Я думала, ты вернешься раньше. Где ты был?

- Так, болтался кое-где. Играл в баскет с мальчишками в переулке. - Они теперь разомкнули объятия.

- Я хотела вздремнуть, но никак не могла. Мама сказала, что у меня усталый вид.

- У тебя и должен быть усталый вид. Ты ведь современная домашняя хозяйка.

- Ну да, а ты пока что где-то шатаешься и играешь, как двенадцатилетний мальчишка.

Он сердится, что она не поняла его шутки насчет домашней хозяйки - той воображаемой особы, кому агенты фирмы Чудо-Терок должны продавать свой товар, не поняла таящейся в ней иронии, жалости и любви. Никуда не денешься - она глупа.

- Не вижу, чем ты лучше меня. Сидишь тут и смотришь программу для годовалых младенцев.

– Интересно, кто недавно шипел, чтоб я не мешала слушать?

– Ах, Дженис, Дженис, – вздыхает он. – Пора мне приласкать тебя как следует. Давно пора.

Она смотрит на него долгим ясным взглядом.

– Пойду приготовлю ужин, – решает она наконец.

Его обуревают раскаяние.

– Я сбегаю за автомобилем и привезу малыша. Несчастный ребенок, наверно, уже думает, что его совсем бросили. И какого черта твоя мать воображает, что моей только и дела, что с чужими детьми возиться?

В нем снова поднимается возмущение – она не понимает, что ему надо смотреть передачу про Джимми для работы, он ведь должен зарабатывать деньги на сахар, который она кладет в свой проклятый «Старомодный».

Сердито, хотя и недостаточно сердито, она идет в кухню. Ей бы надо обидеться по-настоящему или уж совсем не обижаться – ведь он сказал всего лишь про то, что делал не одну сотню раз. Может, даже и тысячу. Начиная с тысяча девятьсот пятьдесят шестого в среднем каждые три дня. Сколько это будет? Триста. Так часто? Почему же это всегда требует таких усилий? Пока они не поженились, ей было легче. Тогда у нее получалось сразу. Совсем еще девчонка. Нервы как новые нитки. Кожа пахла свежим хлопком. После работы они ходили в квартиру ее сослуживицы в Бруэре. Металлическая кровать, обои с серебряными медальонами, из окон, выходящих на запад, видны огромные газгольдеры на берегу реки. В то время они оба работали в универмаге Кролла: она, в белом халатике с карманчиком, на котором было вышито «Джен», продавала леденцы и орешки, а он этажом выше таскал мягкие кресла и деревянные журнальные столики, с девяти до пяти разбивая упаковочные рамы. Нос и глаза саднило от упаковочной стружки. Грязный черный полукруг мусорных ведер за лифтами; усыпанный кривыми гвоздями пол; черные ладони, а этот педик Чендлер каждый час заставлял мыть руки, чтобы не пачкать мебель. Мыло «Лава». Серая пена. От молотка и лома на руках выросли желтые мозоли. В пять тридцать отвратительный рабочий день кончался, и они встречались у выхода, поперек которого натягивалась цепь, чтоб не проходили покупатели. Выложенная

зеленым стеклом камера молчания между двойными дверями; рядом, в неглубоких боковых витринах, головы без туловищ, в шляпах с перьями и в ожерельях розового жемчуга, подслушивали прощальные сплетни. Все служащие Кролла ненавидели универмаг, однако уходили медленно, точно уплывали. Дженис с Кроликом встречались в этой тускло освещенной междверной камере с зеленым полом, словно под водой; толкнув единственную не затянутую цепью створку двери, они выходили на свет и, никогда не говоря о том, куда они идут, шагали к серебряным медальонам, нежно держась за руки, тихонько двигались навстречу потоку возвращающихся с работы автомобилей и предавались любви под льющимися из окна горизонтальными лучами вечернего света. Она стеснялась его взгляда. Заставляла закрывать глаза. Шелковистая, как домашняя туфля, тотчас раскрывалась навстречу. Потом, переступив последнюю черту, они, как потерянные, лежали в этой чужой постели. Серебро медальонов и золото угасающего дня.

Кухня – узкая щель позади гостиной, тесный проход между машинами, которые были ультрасовременными пять лет назад. Дженис роняет что-то металлическое – кастрюлю или кружку.

– Постарайся не обжечься! – кричит Кролик.

– Ты еще тут? – отзывается она.

Он подходит к стенному шкафу и вынимает пиджак, который только что аккуратно повесил. По сути дела, он – единственный, кто тут следит за порядком. В комнате полный развал: стакан «Старомодного» с раскисшим осадком на дне; набитая окурками пепельница вот-вот свалится с ручки кресла; измятый ковер; небрежно сложенные пачки липких старых газет; разбросанные повсюду ломаные игрушки – нога от куклы, изогнутый обрезок картона; комья пыли под батареями. Бесконечный, безнадежный хаос плотной сетью стягивается у него на спине. Он пытается решить, куда пойти сначала – за автомобилем или за малышом? Может, сперва зайти за малышом? Ему больше хочется увидеть сына. До миссис Спрингер ближе. А вдруг она смотрит в окно, чтобы, увидев его, выскочить и сказать, какой усталой выглядит Дженис? Интересно, кто не устанет, таскаясь с тобой по магазинам, сквалыга ты несчастная! Жирная стерва, цыганка старая. Если он придет с малышом, она, может, и промолчит. Кролику нравится мысль пешком прогуляться с сыном. Нельсону два с половиной года, он ходит вразвалку, как кавалерист. В свете угасающего дня они пойдут под деревьями, и вдруг откуда ни возьмись – у

тротуара стоит папина машина. Но на это уйдет больше времени – мать начнет обиняками втолковывать ему, какая никчемная эта Дженис. Эти разговоры всегда его раздражали; очень может быть, мать просто хотела его поддеть, но он не умел легко относиться к ее словам, она слишком властная, во всяком случае по отношению к нему. Лучше сначала сходить за машиной, а уж потом заехать за малышом. Но так ему что-то не хочется. Не хочется, и все. Он все больше запутывается, и от этой путаницы его начинает мутить.

– Ихвати пачку сигарет, милый, ладно? – кричит из кухни Дженис обычным ровным голосом. Значит, его простили и все остается как было.

Глядя на свою бледную желтую тень на белой двери в прихожую, Кролик застывает; он чувствует, что попал в ловушку. Сомнений нет. Он выходит из дому.

На улице становится темно и прохладно. Норвежские клены источают аромат клейких свежих почек, в широких окнах гостиных вдоль Уилбер-стрит за серебристыми экранами телевизоров, словно огоньки в глубине пещер, мягко светятся лампы на кухнях. Кролик идет вниз по склону. День угасает. Кролик время от времени трогает шероховатую кору дерева или сухую ветку живой изгороди, чтобы хоть слегка ощутить структуру материи. На углу, где Уилбер-стрит пересекает Поттер-авеню, в сумеречном свете прислонился к своему бетонному столбу почтовый ящик. Указатель улиц с двумя лепестками, клинообразный ствол телефонного столба с изоляторами на фоне вечернего неба, золотистый куст пожарного гидранта – целая роща. Когда-то он любил лазить по столбам. Заберешься на плечи к приятелю, подтянешься и карабкаешься вверх, пока не ухватишь руками перекладины, и, как по лесенке, поднимешься до места, откуда слышно, как поют провода. Жуткий монотонный шепот. Он всегда внушал желание упасть, выпустить из рук жесткие перекладины, ощутить всей спиной пустоту – когда ты будешь падать, она охватит ноги и скользнет снизу вверх по позвоночнику. Он вспоминает, как, добравшись наконец до перекладины, чувствовал, что от заноз горят ладони. Как сидел, слушая гудение проводов и воображая, будто узнал, что говорят друг другу люди, проник в секреты взрослых. Изоляторы – гигантские синие яйца в открытом всем ветрам гнезде.

Он идет вдоль Поттер-авеню. Висящие в немой высоте провода пронзают живые вершины кленов. На следующем углу, где сточные воды с фабрики искусственного льда некогда со всхлипом втягивались в канализационную трубу

и вновь вытекали наружу на противоположной стороне улицы, Кролик переходит дорогу, идет вдоль канавы, мелкое русло которой прежде было затянуто лентами зеленого ила; они норовили скользнуть тебе под ноги и промочить башмаки, если ты осмеливался на них наступить. Однажды он упал в канаву, хотя не может вспомнить, зачем вообще пошел по ее скользкому краю. Ага – чтоб пофорсить перед девчонками – Лотти Бингамен и Маргарет Шелкофф, а иногда еще Джун Кобб и Мэри Хойер, с которыми ходил домой из начальной школы. У Маргарет часто ни с того ни с сего шла кровь из носа. Наверно, от избытка здоровья. Отец у нее был пьяница, и родители заставляли ее носить высокие ботинки на пуговицах, когда их давно уже никто не носил.

Он сворачивает на Кегерайз-стрит, узкий, мощный гравием переулочек, что вьется вдоль глухой задней стены маленькой картонажной фабрики, где работают главным образом пожилые женщины, минует цементный фасад магазина оптовой продажи пива и старинный фермерский дом – каменный, теперь заколоченный досками, – старейшее здание в поселке, сложенное из грубых глыб красноватого песчаника. От этой фермы, чей хозяин некогда владел половиной всей земли, на которой ныне стоит Маунт-Джадж, теперь остался один только двор, обнесенный покосившейся изломанной изгородью, – куча коричневых жердей и гнилых досок. Летом на них буйно разрастутся сорняки – белые, мягкие как воск стебли, молочные стручки с шелковистыми семенами и грациозные желтые соцветия, подернутые водянистой пылью.

Небольшой пустырь отделяет старый фермерский дом от Спортивной ассоциации «Солнечный свет» – высокого кирпичного здания вроде городского многоквартирного дома, который как бы по недоразумению затесался в этот грязный проулок меж помойками и задними дворами. Какой-то странный навес величиной с деревянный сортир – его каждую зиму возводят на каменных ступенях, чтобы защитить бар от непогоды, – придает ему зловещий вид. Кролик несколько раз заходил в этот клуб. Никакого солнечного света в нем нет и в помине. Первый этаж занимает бар, на втором стоят карточные столы, за которыми, глубокомысленно мыча, сидят местные старожилы. Спиртное и карты у Кролика всегда ассоциируются с унылым старым греховодником, у которого дурно пахнет изо рта, а еще большее уныние на него наводит царящая в этом здании атмосфера политических интриг. Его бывший баскетбольный тренер, Марти Тотеро, который, прежде чем его со скандалом выгнали из школы, имел кое-какие связи в местном политическом мире, жил в этом здании и, по слухам, все еще сохранял известное влияние. Кролик не любит политику, но он когда-то любил Тотеро. После матери Тотеро был для него самым большим авторитетом.

Мысль, что его бывший тренер торчит в этой дыре, несколько его пугает. Он идет дальше, мимо кузовной мастерской и заброшенного курятника. Он все время спускается вниз, потому что поселок Маунт-Джэдждж расположен на восточном склоне горы Джэдждж, чей западный склон господствует над городом Бруэр. Хотя поселок и город смыкаются на шоссе, опоясывающем гору с юга и ведущем в Филадельфию, до которой от них пятьдесят миль, они никогда не сольются воедино, потому что гора подняла между ними свой широкий зеленый гребень протяженностью в две мили с севера на юг. В гору вгрызаются гравийные карьеры, кладбища и новые жилые кварталы, но выше определенной черты сохранились в неприкосновенности сотни акров леса, который поселковые мальчишки никак не могут до конца освоить. Шум автомобилей, ползущих на второй скорости по живописным серпантинам, уже вторгается в эти заросли. Однако на огромных пространствах нехоженого соснового бора усыпанная иглами земля, заглушая звуки, уходит все дальше и дальше ввысь под бесконечными зелеными туннелями, и кажется, что из безмолвия ты попадаешь куда-то еще похуже. А потом, наткнувшись на залитую солнцем поляну, которую ветви не потрудились скрыть, или на обвалившийся каменный погреб, вырытый каким-то храбрым великаном-поселенцем много сотен лет назад, ты и впрямь начинаешь дрожать от страха, словно след чужой жизни привлечет внимание к тебе и деревья, затаившие угрозу, оживут. Страх звенит в тебе как набатный колокол, который ты не в силах заглушить, нарастает, и ты, сгорбившись, ускоряешь свой бег, но вот наконец раздается отчетливый скрежет, водитель приближающейся машины переключил передачу, и за стволами сосен забелели приземистые сигнальные столбики. Наконец, благополучно добравшись до твердого асфальта, ты стоишь и размышляешь: то ли пойти пешком вниз по дороге, то ли попроситься на попутную машину и доехать до гостиницы «Бельведер», купить там шоколадку и полюбоваться Бруэром, распростертым внизу, как ковер, красным городом, где дерево, жесть и даже красный кирпич выкрашены в оранжево-красный цвет глиняных горшков, не похожий на цвет никакого другого города в мире, но для окрестных ребят единственный цвет всех городов вообще.

Гора Джэдждж рано приносит сумерки в поселок. Сейчас всего лишь начало седьмого, канун весеннего равноденствия, а все дома, крытые толем фабрики и расходящиеся по диагоналям улицы на склоне холма уже утонули в голубой тени, которая заливаает поля и луга к востоку от горы. В больших окнах ранчо, двойным рядом стоящих по краю тени, рдеет заходящее солнце. Подобно морскому отливу отступая от домов по ожидающей сева огороженной коричневой земле и полю для игры в гольф – если бы не желтые пятна песчаных участков, издали его можно принять за длинное пастбище, – волна солнечного

света, словно лампы, гасит одно за другим все эти окна, а потом уползает вверх на западные склоны холмов по ту сторону долины и там еще долго сверкает гордым вечерним светом. Кролик медлит в конце переулка, откуда открывается эта широкая перспектива. Здесь он когда-то подносил мячи и клюшки игрокам в гольф.

Снедаемый смутным нетерпением, он отворачивается и идет налево по Джексон-роуд, где прожил двадцать лет. Его родители живут в двухквартирном кирпичном доме на углу, но угловая часть принадлежит не им, а их соседям Болджерам, которые, на зависть миссис Энгстром, владеют еще и маленьким боковым двориком. Окна этих Болджеров забирают весь свет, а мы сидим тут, втиснутые в эту щель.

Кролик бесшумно приближается по траве к своему родному дому, перепрыгивает низенькую живую изгородь из барбариса и проволочную сетку, натянутую, чтобы дети не выбегали на улицу. Он крадется по газону между двумя цементными дорожками, идущими вдоль двух кирпичных стенок – за одной из них когда-то жил он, а за другой – семейство Зимов. Миссис Зим, уродина с выпученными от базедовой болезни глазами, с синеватой дряблой кожей, целыми днями бранила свою дочку Кэролин, неправомерно хорошенькую для своих пяти лет. Мистер Зим был рыжий и толстогубый, а в Кэролин полнота и худоба, красный и синий цвет, здоровье и впечатлительность смешались как раз в необходимой пропорции; ее не по годам ранняя красота, казалось, расцвела не здесь, а где-то во Франции, в Персии или в раю. Это видел даже Гарри, который был всего лишь на шесть лет старше и вообще не обращал внимания на девчонок. Миссис Зим целый день ее бранила, а когда мистер Зим приходил домой с работы, они оба часами кричали друг на друга. Начиналось с того, что мистер Зим вступался за девочку, а потом соседи слышали, как старые раны раскрывались, словно заморские цветы в ночи. Иногда мама говорила, что мистер убьет миссис, а иногда – что девочка убьет их обоих спящими. Кэролин и вправду была какая-то равнодушная; отправляясь в школу, она никогда не выходила из дому без улыбки на своем сердцеобразном личике и шествовала по улицам с таким видом, будто ей принадлежит весь мир, хотя Энгстрымы только что слышали, как ее мать во время завтрака закатила ей очередную истерику, – кухонные окна отстояли друг от друга не более чем на шесть футов. И как только этот несчастный терпит? Если Кэролин с матерью не помирятся, они в одно прекрасное утро проснутся без своего кормильца и защитника. Но мамины предсказания никогда не сбывались. Когда Зимы уехали, они уехали все вместе – мистер и миссис и Кэролин, – укатили в своем фургончике, а часть их мебели еще стояла на тротуаре возле наемного грузовика. Мистер Зим получил новую



работу в Кливленде, штат Огайо. Бедняги, никто о них не пожалеет. Однако скоро пожалели. Свою половину дома они продали пожилой чете правоверных методистов, и старик отказался стричь газон между ними и Энгстромами. Мистер Зим – он и в дождь и в ведро каждый уик-энд работал во дворе, словно это его единственная радость в жизни, чему я ничуть не удивляюсь, – всегда его подстригал. Старик-методист стриг только свою половину – проходил газонокосилкой один ряд, а потом задом наперед толкал газонокосилку по своей дорожке, хотя с таким же успехом мог бы пройти вторую половину газона, а не оставлять его в таком дурацком виде. Когда я слышу, как колеса старого идиота самодовольно тарахтят по дорожке, у меня подсакивает давление и начинает стрелять в ушах. Одно лето мать запретила Кролику и мужу подстригать их половину газона, и на этой затененной полоске выросла густая трава, какие-то растения вроде пшеницы и даже несколько золотарников, и наконец в августе явился чиновник городского управления и сказал, что очень сожалеет, но согласно постановлению муниципального совета они обязаны скосить траву. Встретивший его у дверей Гарри ответил: «Да-да, конечно», как вдруг у него за спиной появилась мать и спросила, о чем идет речь. Это ее клумба. Она не позволит ее портить. Кролику стало очень стыдно за мать. Чиновник глянул на нее, вытащил из кармана засаленную книжицу и показал ей постановление. Она все твердила, что это ее клумба. Тогда он сообщил ей размер штрафа и сошел с крыльца.

В субботу, когда она уехала за покупками в Бруэр, отец вытащил из гаража серп и срезал все сорняки, а Гарри возил газонокосилку взад-вперед по стерне, пока их половина газона не стала такой же аккуратной, как у методиста, хотя и чуть-чуть побурее. Он чувствовал себя виноватым и со страхом ожидал ссоры между родителями, когда мать вернется. Ссоры их приводили его в ужас; когда их лица сердито хмурились и с языка слетали злые слова, ему казалось, будто перед ним поставили стекло и ему нечем дышать; силы покидали его, и ему приходилось скрываться в дальнем углу дома. Однако на этот раз ссоры не было. Отец потряс его тем, что попросту соврал, подмигнув при этом, отчего потрясение удвоилось. Он сказал, что методист в конце концов не выдержал и подстриг газон. Мать поверила, но ничуть не обрадовалась; остаток дня и еще целую неделю она твердила, что старому трясуну надо предъявить иск. Постепенно она стала думать, будто это и вправду ее клумба. Ширина газона от одной цементной дорожки до другой чуть побольше фута. Гарри кажется, что ходить по нему так же опасно, как по верхушке стены.

Он возвращается назад, доходит до освещенного окна кухни, стараясь не шаркнуть подметкой, ступает на цемент и, поднявшись на цыпочки, заглядывает

в ярко освещенный угол. Он видит самого себя на высоком стуле, и странная ревность на мгновение вспыхивает в нем, но тут же проходит. Это его сын. Коротенькая шейка мальчика блестит, как все остальные сверкающие чистотой вещи на кухне – тарелки, чашки, хромированные ручки и алюминиевые формочки для печенья на полках, украшенных фестончиками из глянцевитой клеенки. Поблескивают очки матери, когда она, наклонившись над столом, сгибает пухлую руку с ложкой дымящейся фасоли. На лице ее ни тени тревоги, которую ей следовало бы испытывать оттого, что за мальчиком никто не приходит, наоборот, и вытянутое лицо и граненый, словно клюв, нос выражают одно-единственное желание – накормить ребенка. Ото рта разбегаются белые морщинки. Они расходятся в улыбке – Нельсон, наверное, открыл рот и взял фасоль. Сидящие за столом рассыпаются в похвалах – приглушенные односложные замечания отца, пронзительные восклицания сестры, – оба голоса звучат как-то слабо. Кролик не разбирает слов, потому что звуки заглушает стекло и шум крови в голове. Отец только что пришел с работы, на нем измазанная чернилами синяя рубашка, и, когда с лица его сходит выражение похвалы по адресу внука, он выглядит старым – седым и утомленным. Шея словно связка обвислых шнурков. Новые зубы, которые он вставил в прошлом году, изменили ему лицо, сократив на какую-то долю дюйма. Мириам, по случаю пятницы разряженная в черное с золотом, рассеянно поковырявшись в тарелке, протягивает малышу полную ложку; ее тонкая, обвитая браслетом рука вносит в картину какой-то варварский штрих. Она слишком сильно красится, девятнадцатилетняя девчонка хороша и без зеленых век. Зубы у нее выдаются вперед, и потому она старается не улыбаться. Большая кудрявая голова Нельсона на ярко освещенной шее наклоняется, короткая ручонка в розовый горошек неуверенно тянется к ложке, пытаясь отнять ее у тетки. Лицо деда расплывается от смеха; верхняя губа Мим приподнимается, улыбка ломает притворно-глубокомысленную мину, и сквозь нее проглядывает девчушка, которую Кролик катал на раме велосипеда; когда они свободным ходом катились под гору по крутым улицам Маунт-Джаджа, ее развевающиеся волосы щекотали ему лицо. Она отдает Нельсону ложку; он тут же роняет ее с криком: «Полил! Полил!» Это Кролик слышит; ясно, малыш хочет сказать «пролил». Мим с отцом смеются и что-то ему говорят, а мать, сердито поджав губы, сует ему в рот свою ложку. Его сына кормят, в этом доме царит счастье, не то что у него, и Кролик, отступив по цементу на шаг назад, бесшумно выбирается обратно по травяной полоске.

Теперь он действует решительно и быстро. В темноте проходит еще один квартал по Джексон-роуд. Пересекает наискосок Джозеф-стрит, пробегает еще один квартал, минует шагом другой и наконец видит, что его автомобиль, в

нарушение всех правил стоящий на левой стороне улицы, ухмыляется ему во всю решетку. Он хлопает себя по карману, и его пронизывает страх. У него нет ключа. Все, весь его план зависит от того, что натворила на этот раз растеряха Дженис. Либо она забыла дать ему ключ, когда он уходил, либо вообще не соизволила вынуть его из зажигания. Кролик старается угадать, что более правдоподобно, но не может. Он не настолько ее знает. Он никогда не знает, что она может выкинуть. Она сама не знает. Идиотка.

Просторный дом Спрингеров освещен не спереди, а сзади. Кролик крадется в сладко пахнущей тени деревьев, на случай если старуха, сидя в темной гостиной, ждет его, чтобы высказать свое мнение. Он обходит машину спереди; это «форд» образца пятьдесят пятого года, который старик Спрингер со своими желтыми, как у Гитлера, усиками продал ему ровно за тысячу в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом, потому что трусливому гаду было стыдно – он ведь торгует машинами, – ему было стыдно, что его дочь выходит за человека, владеющего всего лишь «бьюиком» образца тридцать шестого года, который он купил за сто двадцать пять долларов, когда служил в армии в Техасе. Заставил Кролика выложить тысячу, которой у него не было, когда он только-только отремонтировал «бьюик» за восемьдесят. Вот как оно получается. Что посеешь, то и пожнешь. Открыв правую дверцу, он вздрагивает от щелчка тугой дверной пружины и быстро просовывает голову внутрь. Слава тебе господи. Под кнопками освещения и стеклоочистителя чернеет восьмиугольный силуэт ключа. Дай бог здоровья этой дуре. Кролик вползает внутрь; он не хлопает дверцей, а закрывает ее так, что металл легонько касается металла. Фасад оштукатуренного спрингеровского дома все еще не освещен. Он чем-то напоминает ему пустой ларек с мороженым. Кролик поворачивает ключ через отметку «зажигание» на «старт», и мотор, чихнув, заводится. Однако, стараясь не выдать своего присутствия, он слишком слабо нажал на акселератор, и двигатель, застывший в холодном воздухе ранней весны, мгновенно глохнет. У Кролика прямо сердце переворачивается, в горле першит, как от сухой соломы. Допустим, она даже и выйдет, ну и черт с ней. Подозрительно только, что с ним нет малыша, но ведь можно сказать, что он за ним едет. В конце концов, логично было бы сделать именно так. Однако ему неохота затруднять себя враньем, хотя бы и правдоподобным. Кончиками пальцев он чуть-чуть вытягивает подсос и снова заводит мотор. Нажав на акселератор, он смотрит вбок, видит, что в гостиной Спрингеров зажегся свет, отпускает сцепление, и «форд» отрывается от тротуара.

Превышая дозволенную скорость, он проезжает Джозеф-стрит и сворачивает налево, игнорируя знак СТОП. Едет по Джексон-роуд вниз, где она под косым

углом вливается в Центральную, которая одновременно дорога № 422 в Филадельфию. СТОП. В Филадельфию он ехать не хочет, но на краю поселка за электростанцией дорога расширяется, и остается единственная возможность – вернуться назад через Маунт-Джэдждж и, обогнув гору, въехать в самую гущу Бруэра и вечернего движения. Он не хочет больше никогда видеть Бруэр, город цветочных горшков. Шоссе с тремя полосами движения переходит в шоссе с четырьмя полосами, и теперь можно не бояться задеть другой автомобиль – все идет параллельно, словно палки на стремнине. Кролик включает радио. Сначала раздаётся жужжание, потом прекрасная негритянка поет: «Без песни де-е-ень не кончится, без песни». Ощущение внутренней чистоты требует сигареты, но Кролик вспоминает, что бросил курить, и чувствует себя еще более чистым. Он откидывается назад, кладет правую руку на спинку сиденья и, управляя одной левой, скользит по окутанной сумерками автостраде. «На кукурузном поле» глухой теплый голос певицы изгибается, как внутренность виолончели, «растет трава», земля вокруг шоссе бесконечно уходит под уклон, словно какая-то темная птица, «нет никакого смысла здесь ни в чем», скальп его в экстазе сжимается «без песни». Запахло жженой резиной, значит включилось отопление, и он ставит рычажок на УМЕРЕННО.

«Тайная любовь», «Осенние листья» и еще какая-то песня, названия он не расслышал. Музыка к ужину. Музыка под стряпню. Он с досадой отключается от непрошеного зрелища: Дженис готовит ужин, на сковороде что-то шипит, наверно отбивные, подернутая жиром вода безутешно пузырится, из размороженной фасоли улечиваются витамины. Он старается думать о чем-нибудь приятном. Воображает, как с дальней дистанции делает бросок одной рукой, но он стоит на крутом утесе, а под ним пропасть, в которую он рухнет, как только мяч вылетит из рук. Он пытается снова представить себе, как мать и сестра кормят его сына, но, мысленно обратив свой взгляд назад, видит, что мальчик плачет, лоб у него покраснел, из широко разинутого рта вырывается горячее дыхание. Но что-то должно же ведь быть: сточные воды с фабрики искусственного льда текут по канаве, желтой струйкой вьются вокруг камней, расходятся круговой рябью, покачивая ниточки ила у краев. Память внезапно возрождает трепет Дженис на чужой постели в свете угасающего дня. Он хочет стереть это воспоминание с помощью Мириам. Мим на раме его велосипеда, Мим на санках в темноте, он везет ее вверх по Джексон-стрит, маленькая девчушка в капоре смеется, а он большой старший брат, красные огни в снегу над загородкой, которой рабочие муниципалитета закрыли движение по улице, чтоб не мешать кататься на санках, вниз, вниз, полозья со свистом скользят по утрамбованному темному склону. Держи меня, Гарри, сыплются искры – это полозья врезались в шлак, брошенный у подножия для безопасности, скрежет

словно стук огромного сердца в темноте. Еще разок, Гарри, а потом домой, честное слово, Гарри, пожалуйста, ой, как я тебя люблю, маленькая Мим, ей всего лет семь, не больше, на ней темный капор, улица мягкая как воск, а снег все идет и идет. Бедная Дженис теперь, наверно, совсем уже сдрейфила, звонит по телефону своей матери или его матери, кому-нибудь, не понимает, почему стынет ужин. Жуткая тупица. Прости меня.

Он набавляет скорость. Растущая путаница огней таит угрозу. Его втягивает в Филадельфию. Он ненавидит Филадельфию. Самый грязный город в мире, вода – сплошной яд, прямо отдает химикатами. Он хочет ехать на юг, вниз, вниз по карте, в край апельсиновых рощ, дымящихся рек и босоногих женщин. Кажется, чего проще – мчи себе всю ночь, все утро, весь день, остановись на пляже, сними башмаки и усни на берегу Мексиканского залива. Проснись в идеальном здравии под идеально расставленными звездами. Но едет он на восток, хуже некуда, к болезням, саже и вони, в душную дыру, где не проедешь и шагу, как сразу кого-нибудь задавишь. Однако шоссе тянет его за собой, а на указателе надпись: ПОТТСТАУН 2. Он чуть не затормозил. Но потом задумался.

Если он едет на восток, значит юг справа. И внезапно, словно весь мир только и ждал, как бы удовлетворить его желание, справа появляется широкое шоссе и перед поворотом указатель: ДОРОГА № 100 УЭСТ-ЧЕСТЕР – УИЛМИНГТОН. Дорога № 100 – прекрасно, это звучит категорически. Он не хочет в Уилмингтон, но ему как раз в ту сторону. Он никогда не был в Уилмингтоне. Это владение Дюпонов. Интересно, каково переспать с какой-нибудь Дюпоншей.

Однако, не проехав и пяти миль, он чувствует, как шоссе начинает превращаться в часть той же самой ловушки. Он сворачивает в первый попавшийся поворот. Фары высвечивают на придорожном камне надпись: 23. Хорошее число. На первых своих состязаниях он набрал двадцать три очка. Ученик предпоследнего класса средней школы и девственник. Узкую дорогу затеняют деревья.

Босая Дюпонша. Наверняка загорелые ноги, маленькие птичьи грудки. На краю плавательного бассейна во Франции. Интересно, богатые девушки фригидны? Или нимфоманки? Наверно, разные. В конце концов, все они просто женщины, ведущие свой род от какого-нибудь старого мошенника, грабившего индейцев, который оказался удачливее других; у всех одни и те же качества, даже если они живут в трущобах. Там, на грязных матрацах, белизна сверкает еще ярче. Удивительно мягкие, если им хочется. В противном случае просто жирные туши.

Шоссе № 23 идет на запад через скучные провинциальные городки – Ковентривилл, Элверсон, Моргантаун. Кролик любит такие городки. Высокие кубы фермерских домов ластятся к дороге. Мягкие меловые бока. В одном из городков ярко светится бар, и Кролик останавливается напротив у скобяной лавки, рядом с двумя бензоколонками. По радио он слышал, что уже половина восьмого, но скобяная лавка еще открыта, в витрине лопаты, сеялки, экскаваторы для рытья ям под столбы, топоры – синие, оранжевые и желтые, несколько удочек, на веревочке перчатки для игры в гольф. Выходит человек средних лет, на нем сапоги, мешковатые брюки цвета хаки и две рубашки.

– Да, сэр, – говорит он, нажимая на второе слово, словно припадающий на ногу инвалид.

– Нельзя ли заправиться?

Человек начинает качать бензин. Кролик вылезает из машины, обходит ее сзади и спрашивает:

– Сколько отсюда до Бруэра?

Фермер, сосредоточенно вслушиваясь в бульканье бензина, поднимает голову и бросает на него короткий недоверчивый взгляд.

– Поверните назад, поезжайте по той дороге, тогда останется всего шестнадцать миль до моста, – отвечает он, подняв палец.

Шестнадцать. Он сделал сорок миль, чтобы отъехать на шестнадцать.

Но и это далеко, здесь совсем другой мир. У него и запах иной, более древний, здесь пахнет глухоманью, укромными местечками в земле, которой никто еще не трогал.

– А если ехать прямо?

– Приедете в Черчтаун.

- А что за Черчтауном?

- Нью-Холланд. Ланкастер.

- У вас есть какие-нибудь карты?

- Сынок, куда тебе надо попасть?

- А? Точно не знаю.

- Куда ты едешь? - терпеливо допытывается человек. Лицо его кажется одновременно добродушным, хитрым и глупым.

Только тут Кролик осознает, что он преступник. Он слышит, как по горловине бензобака поднимается бензин, и замечает, до чего старательно фермер выжимает в бак каждую каплю, не позволяя ей перелиться через край, что сделал бы нахальный служитель бензоколонки в городе. Здесь ни единой капли бензина не должно пропасть, а его угораздило забраться в эту глушь, да к тому ж еще и на ночь глядя. В этом краю законы - не бесплотные духи, они бродят вокруг, источая запах земли. Тело Кролика обволакивает беспричинный страх.

- Проверить масло? - спрашивает человек, вешая шланг на стенку ржавой колонки - она старого образца, с окрашенной головкой в форме пузыря.

- Нет. Пойдите. Впрочем, да. Пожалуй, проверьте. Спасибо.

Успокойся. Ты всего лишь попросил карту. Этот навозный жук чертовски скуп, но что тут подозрительного? Кто-то всегда куда-нибудь едет. Пусть он проверит масло, я ведь больше не буду останавливаться, пока не проеду полдороги до Джорджии.

- Скажите, сколько отсюда до Ланкастера, если ехать на юг?

- Прямо на юг? Не знаю. По дороге будет миль двадцать пять. Масло у тебя в порядке. Ты решил ехать в Ланкастер?

- Да, пожалуй.

- Воду проверить?

- Не надо. Воды достаточно.

- Аккумулятор?

- Он в порядке. Пора ехать.

Человек захлопывает капот и, глядя на Гарри, улыбается.

- Три девяносто за бензин, молодой человек. - Слова звучат четко, с нажимом, как тяжелые осторожные шаги калеки.

Кролик кладет ему в руку четыре долларовые бумажки. Рука заскорузлая, жесткая, ногти напоминают старые лопаты, от долгого употребления принявшие причудливые формы. Человек исчезает в дверях скобяной лавки - наверно, звонит в полицию штата. Ведет себя так, словно о чем-то узнал, но откуда? Кролику не терпится нырнуть в машину и уехать. Чтобы успокоиться, он пересчитывает оставшиеся в бумажнике деньги. Семьдесят три. Сегодня была получка. Прикосновение к такому большому количеству хрустящих бумажек успокаивает нервы. Выключив свет в лавке, фермер возвращается с десятицентовиком, но без карты. Гарри протягивает руку, человек толстым большим пальцем заталкивает ему в ладонь десятицентовик и говорит:

- Перерыл все, но, кроме дорожной карты штата Нью-Йорк, ничего нет. Ты, случайно, туда не собираешься?

- Нет, - отвечает Кролик, направляясь к двери автомобиля. Сквозь волосы на затылке он чувствует, что человек идет за ним. Он садится в автомобиль, хлопает дверцей, и фермер уже тут как тут, его дряблая физиономия торчит в открытом окне. Он наклоняется и норовит просунуть голову внутрь. Потрескавшиеся тонкие губы глубокомысленно шевелятся; на них шрам, поднимающийся к носу. Он в очках - ученый.

- Знаешь что, единственный способ куда-нибудь приехать - это сперва разобраться, куда едешь.



Кролика обдает запахом виски.

- Не думаю, - ровным голосом отвечает он.

Губы, очки, черные волоски, торчащие из ноздрей, имеющих форму слезинки, не выказывают ни малейшего удивления. Кролик отъезжает и направляется вперед. От каждого, кто указывает тебе, что` надо делать, воняет виски.

Он едет в Ланкастер. Приятное ощущение легкости начисто испортилось. Оттого что этот слабоумный ни черта ни о чем не знал, вся округа приобрела зловещий вид. За Черчтауном он обгоняет в темноте повозку меннонитов; перед глазами в призрачном экипаже на конной тяге мелькает бородатый мужчина и женщина в черном. Оба смотрят злобно, как дьяволы. Борода торчит из повозки, как волоски из ноздри. Он пытается думать о праведной жизни этих людей, о том, как они сторонятся всей этой показухи, этого витаминного рэкета двадцатого века, но все равно для него они остаются дьяволами; рискуя быть раздавленными, они плетутся по дорогам с одним-единственным тусклым красным отражателем позади, полные лютой ненависти к Кролику и ему подобным, с их огромными пушистыми задними фонарями. Что они о себе воображают? Он не может выбросить их из головы. В зеркале заднего вида они так и не появились. Он проехал, и от них не осталось и следа. Всего лишь мимолетный взгляд вбок - широкоскулое лицо женщины словно треугольник из дыма в квадратной тени. Высокий, подбитый волосом гроб тарыхтит по дороге под топот копыт полудохлой клячи. Меннониты ведь до смерти загоняют своих лошадей. Фанатики. Совокупляются со своими женщинами стоя, в полях, одетыми, попросту задерут черную юбку, а под ней ничего. Никаких штанов. Фанатики. Навозопоклонники.

Тучная земля как бы отбрасывает в воздух тьму. Ночью поля выглядят уныло. Когда огни Ланкастера сливаются с приглушенным светом его фар, ему становится легче. Он останавливается у кафе; часы показывают восемь ноль четыре. Он не собирался есть, пока не выедет за пределы штата. Он берет карту со стеллажа возле входа и, поедая у стойки три булочки с котлетой, пытается определиться в пространстве. Он в Ланкастере: кругом - городки со смешными названиями: Берд-ин-Хенд - Синицу-в-Руки, Пэредайз - Рай, Интеркорс - Сношение, Маунт-Эри - Воздушная Гора, Мэскет - Талисман. Наверно, если в них живешь, они не кажутся смешными. Как Маунт-Джадж - Гора Судья. Привыкаешь. Должен же город как-то называться.

Берд-ин-Хенд, Пэредайз, глаза снова и снова возвращаются к изящным буквам на карте. Стоя посреди мерцающей синтетическим блеском ресторанной суматохи, он чувствует желание отправиться туда. Маленькие пухлые женщины, крохотные собачонки на улицах, леденцовые домики в лимонных солнечных лучах.

Но нет, его цель – белое солнце юга, как огромная подушка в небесах. А судя по карте, он все время двигался скорее на запад, чем на юг; если бы у того навозного жука была карта, он мог бы проехать прямо на юг по дороге № 10. Теперь остается только въехать в центр Ланкастера, выбраться из него по дороге № 222, не съезжать с нее до самого Мэриленда, а потом свернуть на дорогу № 1. Он вспоминает заметку в «Сэтердей ивнинг пост», что № 1 тянется от Флориды до Мейна по самой живописной местности в мире. Он берет стакан молока и к нему яблочный пирог, корочка хрустит и пузырится, и у них хватило ума положить туда корицу. Мать всегда кладет в пироги корицу. Он расплачивается, разменяв десятку, и, довольный, выходит на автомобильную стоянку. Здешние котлеты жирнее и теплее, чем в Бруэре, а булочки, как видно, хорошо пропеклись. Дела идут на лад.

Полчаса он плетется через город. Выехав на № 222, направляется к югу через Рефтон, Хессдейл, Нью-Провиденс и Куарривилл, затем через Меканикс Гроув – Роццу Механики и Юникорн – Единорог, после чего начинается ровная местность, такая унылая и неприятная, что, лишь натолкнувшись на Оквуд, он осознает, что въехал в Мэриленд. По радио передают: «Не надо мне ни рук, ни губ чужих», «Стеггер Ли», рекламу Прозрачных Чехлов на Сиденья из Пластика фирмы «Рейко», «О, если бы мне было наплевать» в исполнении Конни Френсис, рекламу Управляемых по Радио Дверей для Гаража, Мел Торм поет: «Я бежал всю дорогу домой просить прощения», «Это старое чувство», рекламу Телевизора «Вестингауз» с Большим Экраном и Автоматической Настройкой Одним Пальцем – «предельно четкое изображение не дальше носа от экрана», «Песни итальянского ковбоя», «Ну да» в исполнении Дуэйна Эдди, рекламу Шариковой Ручки «Пейпермейт и», «Я совсем большой», рекламу Полоскания для Волос после Шампуня, «Пойдем с тобой бродить», последние известия (президент Эйзенхауэр и премьер-министр Гарольд Макмиллан приступили к переговорам в Геттисберге, тибетцы сражаются с китайскими коммунистами в Лхасе, местонахождение далай-ламы, духовного вождя этой далекой отсталой страны, неизвестно, служанка с Парк-авеню получила в наследство двести пятьдесят тысяч долларов, весна начнется завтра), новости спорта («Янки» против «Храбрецов» в Майами, кто-то с кем-то сыграл вничью на открытых состязаниях в Санкт-Петербурге, счет местных баскетбольных соревнований),

погода (безоблачно и по сезону тепло), «Счастливый голос», «Пусти меня», рекламу Страхования Жизни Через Сберегательные Кассы, «Роксвилл П-А» (эту Кролик любит), «Картина, какой не нарисует ни один художник», рекламу Пасты для Бритья «Барбазол Престо» Нового Состава – очищает кожу от пятен и что-то там эмульсирует, Доди Стивенс поет «Розовые шнурки для ботинок», письмо от мальчика по имени Билли Тесман – он попал под машину и будет благодарен за письма и открытки, «Пти Флер», «Фанго» (большое), реклама Костюмов Из Чистой Шерсти «Вул Текс», «Ссора» Генри Манчини, «Все любят ча-ча-ча», рекламу Столовых Салфеток «Милость Божья» и великолепной Скатерти «Тайная вечеря», «Биенье сердца моего», реклама Полировочной Пасты «Скорость» и Ланолинового Крема, «Венеру» и снова те же известия. Где далай-лама?

Сразу за Оквудом Кролик выезжает на дорогу № 1; киоски с горячими сосисками, щиты Кэлсо и придорожные кабачки, притворяющиеся бревенчатыми хижинами, производят неожиданно унылое впечатление. Чем дальше, тем сильнее становится ощущение, что к нему тянется какой-то огромный беспорядочный конгломерат – теперь уже не Филадельфия, а Балтимор. Он останавливается взять на два доллара бензина. В сущности, ему нужна новая карта. Стоя у автомата с кока-колой, он разворачивает и изучает ее в свете, льющемся из окна, зеленого от пирамиды банок с жидкой восковой пастой. Вопрос в том, как оторваться от конгломерата Балтимор – Вашингтон, который, подобно двуглавному псу, стережет прибрежный путь к югу, и уйти на запад. Он не хочет ехать на юг вдоль моря; перед глазами встает такая картина: он спускается на юг через центр, прямоком в мягкое чрево страны, и пробуждающиеся на заре хлопковые поля с изумлением взирают на его северные номерные знаки.

Сейчас он примерно здесь. Дальше дорога № 23 повернет налево, нет, направо. Это значит – вверх по карте, а потом снова назад в Пенсильванию, но здесь, у Шосвилла, он может поехать по узкой дороге, обозначенной тонкой синей линией без номера. Потом проехать немного вниз и снова повернуть на № 137. Затем – длинная кривая и пересечение с № 482 и № 31. Кролик уже чувствует, как разворачивается и переходит на красную линию № 26, а потом едет по ней до следующей – № 340. Она тоже красная, он скользит по ней пальцем, и вдруг его осеняет, куда ему надо ехать. Слева тянутся с северо-востока на юго-запад три параллельные красные линии, и Кролик прямо-таки чувствует, что они скользят вниз по долинам Аппалачей. Если поехать по одной из них, то к утру, как по желобу, скатишься в славные хлопковые низины. Да. Стоит только очутиться там, как сразу можно будет отряхнуть все мысли о неразберихе, оставшейся позади.

Кролик дает два доллара за бензин служителю бензоколонки, высокому молодому негру, и его охватывает нелепое желание обнять это ленивое гибкое тело, болтающееся в мешковатом фирменном комбинезоне. Здесь гораздо теплее. Теплый воздух коричневыми и лиловыми дугами вибрирует между светильниками бензоколонки и луной. Часы в окне над зелеными банками с жидкой восковой пастой показывают девять десять. Тонкая красная секундная стрелка невозмутимо метет цифры, и Кролику чудится, что она сулит ему ровную дорогу. Он ныряет в свой «форд» и, забравшись в его жаркое душное нутро, начинает мурлыкать «Все любят ча-ча-ча». Сперва он едет смело. По черному гудрону, по белому асфальту, сквозь городки и поля, мимо перекрестков, вероломно манящих голосами сирен; рядом на сиденье лежит карта, и Кролик строго придерживается нужных номеров, подавляя желание повернуть прямо к югу. Какой-то животный инстинкт говорит ему, что он едет на запад.

Местность становится все более дикой. Дорога обходит большие озера и ныряет в туннели сосновых лесов. В верхней части ветрового стекла телефонные провода без конца подхлестывают звезды. Музыка в радиоприемнике постепенно замерзает, рок-н-ролл для подростков сменяется старыми мотивами, мелодиями из кинофильмов и утешительными песенками сороковых годов. Кролик мысленно видит супружеские пары – после кино и ужина в ресторане они спешат домой к приходящим няням. Потом мелодии окончательно коченеют, и тогда вступает в свои права настоящая ночная музыка – рояль и виброфон воздвигают гроздь ломких октав, словно рябь на поверхности пруда, шастает вокруг кларнет, снова и снова описывают все ту же восьмерку саксофоны. Кролик проезжает через Уэстминстер. Целую вечность плетется до Фредерика, выбирается на № 340 и пересекает Потомак.

В полночь его начинает клонить ко сну, и он останавливается у придорожного ресторанчика выпить кофе. Чем-то – чем именно, ему никак не ухватить – он отличается от остальных клиентов. Они тоже это чувствуют и смотрят на него тяжелым взглядом; глаза, словно маленькие металлические кнопки, торчат на белых лицах юношей в куртках с молниями, сидящих в отдельных кабинках по трое на одну девицу; оранжевые волосы девиц свисают как морские водоросли или небрежно схвачены заколками, золотыми, как сокровище пиратов. У стойки супружеские пары средних лет в пальто, вытянув губы, сосут через соломинки серое мороженое с содовой. В общем гуле, вызванном его появлением, преувеличенная любезность утомленной женщины за стойкой еще больше подчеркивает его чужеродность. Он спокойно заказывает кофе и, подавляя

спазмы в животе, рассматривает края чашки. Он думал, он читал, что от моря и до моря Америка везде одна и та же. Интересно, я чужой только для этих людей или для всей Америки?

На улице, в студеном воздухе, он вздрагивает, услышав тяжелые шаги у себя за спиной. Однако это всего лишь торопятся к своей машине какие-то влюбленные; их сплетенные руки, словно морская звезда, проносятся сквозь тьму. На номерном знаке их машины индекс Западной Виргинии. Тот же индекс на всех остальных номерах, кроме его собственного. С противоположной стороны дороги лес так круто уходит под уклон, что вершины деревьев на склоне горы напоминают вырезанный зубчиками лист картона, прислоненный к слегка выцветшей голубой простыне. Кролик с отвращением лезет в свой «форд», но спертый воздух в машине – его единственное убежище.

Он едет сквозь сгущающуюся ночь. Дорога петляет с раздражающей медлительностью: куда бы ни направлялся свет фар, перед ними неизменно встает ее черная стена. Гудрон засасывает шины. Кролик осознает, что щеки у него горят от злости, он злится с тех самых пор, как вышел из набитого русалками кабака. Он так зол, что во рту все пересохло, а из носу течет. Он вдавливая ногу в пол, словно желая раздавить змею-дорогу, и машина едва не опрокидывается, когда на вираже оба правых колеса выскакивают на грунтовую обочину. Он выворачивает, но стрелка спидометра все время клонится вправо от законного предела скорости.

Он включает радио – музыка уже не кажется рекой, несущей его вниз по течению; она говорит с ним голосом огромных городов, скользкими руками шлепает по голове. Однако он не пускает мысли в образовавшуюся тишину. Он не хочет думать, он хочет уснуть и проснуться на мягкой песчаной подушке. Какой он дурак, какой осел, что так мало проехал. Уже полночь, ночь наполовину пролетела.

Местность упорно остается неизменной. Чем дальше, тем больше она напоминает окрестности Маунт-Джаджа. Тот же мусор вдоль придорожных насыпей, те же обшарпанные щиты с рекламой все тех же товаров – непонятно, кому может прийти в голову их покупать. Дальний свет фар свивает голые сучья в бесконечную сеть. Теперь она даже еще плотнее.

Животное начало в нем бурно протестует, не желает двигаться на запад. Мозг упорно стоит на своем. Единственный способ куда-нибудь попасть – твердо

решить, куда ты едешь, и ехать. После Фредерика нужно было проехать налево двадцать восемь миль, но эти двадцать восемь миль уже позади, и, хотя инстинкты категорически против, он сворачивает влево на широкую дорогу без всякого указателя. Впрочем, судя по ее толщине на карте, никакого указателя быть не должно. Он и так знает, что это кратчайший путь. Он вспоминает, что, когда Марти Тотеро стал его тренером, он, Кролик, не хотел делать штрафные броски снизу, но в конце концов оказалось, что именно это и было правильно. На свете все именно так и устроено: правильный путь сначала кажется неправильным. Чтоб испытать нашу веру.

Дорога еще долго остается широкой и надежной, но вдруг начинается кое-как залатанный участок, а потом она поднимается вверх и сужается. Сужается не то чтобы по плану, а скорее естественно – обочины крошатся, с обеих сторон наступают леса. Устремляясь ввысь, дорога бешено виляет, потом вдруг ни с того ни с сего сбрасывает свою асфальтовую шкуру и червем уползает в грунт. Теперь Кролик уже понял, что это не та дорога, но боится остановить машину и повернуть обратно. Последний освещенный дом остался далеко позади. Когда он пытается объехать густую траву, кустарник царапает краску на крыльях. В свете фар видны одни только стволы и нижние ветви деревьев; ползучие тени отступают сквозь дебри в черное сердце паутины, и Кролик опасается, как бы лучи не вспугнули там какого-нибудь зверя или призрак. Он поддерживает скорость молитвой, он молит, чтобы дорога не зашла в тупик, вспоминая, что на горе Джадж даже самая глухая заросшая лесная тропинка неизменно выводит в долину. У него начинается зуд в ушах – на них давит высота.

В ответ на молитву его ослепляют. Деревья на далеком вираже взмывают ввысь языками огня; автомобиль с включенным дальним светом выскакивает из-за поворота и летит прямо на него. Кролик сползает в кювет, и безликая, словно смерть, машина проносится мимо со скоростью вдвое больше его собственной. Минуты две Кролик тащится сквозь пыль, поднятую этим гадом. Однако утешается приятной новостью – дорога все же куда-то ведет. Вскоре он попадает в какой-то парк. Фары освещают зеленые бочонки с надписью ПРОШУ ВАС, деревья по обе стороны редют, и среди них возникают прямые линии летних столиков, павильонов и уборных. Появляются и плавные изгибы автомобилей; некоторые стоят у самой дороги, но пассажиров не видно. И так, дорога ужасов оказалась тропой любви. Еще ярдов сто, и ее больше нет.

Она упирается под прямым углом в широкое ровное шоссе, над которым черной тучей нависает горный хребет. Одна машина со свистом мчится на север. Другая

со свистом мчится на юг. Никаких указателей нет. Кролик переводит рычаг переключения передач в нейтральное положение, вытягивает ручной тормоз, зажигает свет в салоне и изучает карту. Руки и ноги у него дрожат. За воспаленными веками пульсирует усталый мозг; наверно, уже половина первого, если не больше. Шоссе пусто. Он забыл номера дорог и названия городов, по которым проезжал. Он вспоминает Фредерик, не может его найти и в конце концов соображает, что ищет его западнее Вашингтона, где вообще никогда не бывал. На карте множество красных линий, синих линий, длинных названий, маленьких городков, квадратиков, кружков и звездочек. Он переводит взор кверху, но единственная линия, которую он узнает, – это прямая пунктирная линия границы между Пенсильванией и Мэрилендом. Линия Мейсон – Диксон. Он вспоминает школьный класс, в котором учил про нее: ряды привинченных к полу парт, исцарапанный лак, белесая грифельная доска, симпатичные девчонки в алфавитном порядке вдоль проходов. Кролик тупо таращит глаза. Он слышит, как в голове тикают часы, дьявольски медленно, тихо и редко, напоминая шум волн на берегу, к которому он стремится. Сквозь застилающий глаза туман он снова впивается в карту. В поле зрения моментально выскакивает «Фредерик», но, пытаясь засечь его местоположение, Кролик тотчас его теряет, и от ярости у него начинается нить переносица. Названия тают, и перед ним предстает вся карта – сеть из красных линий, синих линий и звездочек, сеть, в которой он где-то запутался. Задыхаясь от ярости, он вцепляется в карту, отрывает от нее большой треугольник, рвет на две части остаток, немного успокоившись, кладет эти три обрывка друг на друга, разрывает пополам, потом рвет оставшиеся шесть и так далее, пока в руке не остается комок, который можно сжать, как резиновый мячик. Он опускает стекло и выбрасывает его наружу, мячик лопается, бумажки взмывают над машиной, словно выщипанные из птичьего крыла перья. Он поднимает стекло. Во всем виноват тот фермер в очках и в двух рубашках. До чего же этот тип въелся ему в печенки. Он никак не может выбросить из головы это самодовольство, эту солидность. Он уже там об него споткнулся и продолжает спотыкаться здесь, фермер болтается у него под ногами, словно слишком длинные шнурки от ботинок или застрявшая в ботинке щепка. Этот тип прямо-таки источал издевку – то ли изо рта, то ли размеренными движениями рук, то ли из волосатых ушей; все его тело каким-то непонятным образом источало глумление над робкими бессловесными надеждами Гарри, выбивало почву из-под ног. Сперва реши, куда хочешь ехать, а потом поезжай, – разумеется, не в этом суть, и все же что-то в этом есть. Как бы там ни было, доверься он чутью, он был бы уже в Южной Каролине. Сейчас бы в самый раз сигарета, она бы помогла ему понять, что подсказывает чутье. Он решает несколько часов подремать в машине.

Но позади в поцелуйной роще ревет мотор, фары описывают круг и упираются Кролику в затылок. Он остановился поглядеть на карту прямо посреди дороги. Надо уезжать. Его охватывает беспричинный страх, будто за ним гонятся; еще какие-то фары вливаются в зеркало заднего вида, заполняя его до краев, словно чашку. Он выжимает сцепление, включает первую скорость и отпускает ручной тормоз. Выскочив на шоссе, он инстинктивно поворачивает вправо, на север.

Путь домой намного легче. Хотя у него нет карты и почти совсем нет бензина, возле Хейджерстауна как по мановению волшебной палочки возникает ночная бензоколонка «Мобил» и зеленые огни, указывающие дорогу к Пенсильванской автостраде. Радио передает теперь успокаивающие лирические мелодии, безо всякой рекламы, и радиолуч, посланный сперва из Гаррисберга, а потом из Филадельфии, безошибочно ведет его за собой. Он преодолел барьер усталости и вступил в спокойный плоский мир, где ничто не имеет значения. В этот мир он обычно переносился на последней четверти баскетбольного матча, когда бегаешь не ради счета, как воображают зрители, а просто так, для собственного удовольствия. На площадке ты, иногда мяч и еще дырка, прекрасная высокая дырка с хорошенькой юбочкой из сетки. Там ты, только ты и это бахромчатое кольцо, и иногда кажется, что оно спустилось прямо тебе под нос, а иногда оно остается далеким, маленьким и твердым. Как странно – ты уже давно ощущаешь все это пальцами, руками, даже глазами – в пылу азарта он различал, как скручиваются в шнуры отдельные нити, оплетающие обруч, – а зрители начинают кричать и хлопать намного позже. Но в самом начале, на разминке, когда видишь, как все городские болельщики, сидя на дешевых местах, толкают друг друга локтями, а учителя побойчее обмениваются шуточками со знатоками, кажется, будто вся эта толпа сидит у тебя внутри, в печенках, в животе и в легких. Один толстяк, так тот ухитрился залезть Кролику на самое дно живота, от него прямо все поджилки тряслись. «Эй, командор! Бей! Дай им прикурить!» Кролик с симпатией вспоминает его теперь – для этого парня он был настоящим героем.

Все утро, все эти ранние темные часы музыка продолжает играть, а дорожные знаки продолжают указывать ему дорогу. Мозг будто слабый, но шустрый инвалид – он утонул в подушках, а по длинным коридорам снуют посыльные со всей этой музыкой и информацией по части географии. Одновременно у него появилась какая-то ненормальная поверхностная чувствительность, как будто его кожа мыслит. Рулевое колесо словно тонкий хлыст в руках. Легонько поворачивая его, он ощущает, как туго вращается вал, входят друг в друга зубцы шестерен дифференциала и перекатываются шарики в набитых смазкой канавках подшипников. Фосфоресцирующие мигалки на краю дороги навевают



мысли о юных Дюпоншах: они вереницами вьются по огромным зеркальным танцевальным залам, и под блестками вечерних туалетов угадываются голые тела. Богатые девушки фригидны? Он так никогда и не узнает.

Интересно, почему на обратном пути указателей так много, а когда он ехал на юг, их было так мало. Конечно, он понятия не имел, куда ехал. Он сворачивает с автострады на дорогу в Бруэр, и она приводит его в городок, где он в первый раз брал бензин. Сворачивая на дорогу с указателем БРУЭР 16, он видит по ту сторону главной улицы стоящие под косым углом бензоколонки того навозного жука и темное окно его лавки с поблескивающими лопатами и удочками. У окна очень довольный вид. Воздух чуть тронут лиловым рассветом. Длинный айсберг радиомузыки раскалывается на сообщения о теплой погоде и ценах на сельскохозяйственные продукты.

Он въезжает в Бруэр с юга, и в предрассветном тумане город предстает перед ним сначала как дома, чем дальше, тем все ближе стоящие друг к другу среди деревьев вдоль дороги, потом как лишенная растительности индустриальная пустыня – обувные фабрики, разливные фабрики, заводские стоянки автомашин, трикотажные фабрики, превращенные в заводы по производству электронных элементов, и слоноподобные газгольдеры, они стоят выше заваленного отбросами болота, но ниже голубого гребня горы, с вершины которой Бруэр кажется теплым ковром, сотканным из нитей одного-единственного кирпичного оттенка. Над горой гаснут звезды.

Он проехал мост через реку Скачущая Лошадь и теперь катит по знакомым улицам. По Уоррен-авеню пересекает южную часть города и возле городского парка выезжает на дорогу № 422. Огибает гору в обществе нескольких шипящих грузовиков с прицепами. Оранжевая полоса рассвета, прижатая к далекому холму, вспыхивает у них под колесами. Делая левый поворот с Центральной улицы на Джексон-роуд, он чуть-чуть не задел боком молоковоз, лениво торчащий посреди дороги. Едет по Джексон-роуд дальше, мимо дома родителей и сворачивает в переулок Кегерайз. Холодная заря внезапно окрашивает здания бледно-розовым светом. Он минует заброшенный курятник, безмолвную кузовную мастерскую и ставит машину против спортивной ассоциации «Солнечный свет», в нескольких шагах от закрытого навесом крыльца, где каждый выходящий из клуба непременно его увидит. Кролик с надеждой смотрит на окна третьего этажа, но света в них нет. Если Тотеро там, он еще спит.

Кролик решает вздремнуть. Сбросив пиджак, он вместо одеяла укрывает им грудь. Но становится все светлее, переднее сиденье слишком коротко, и плечи упираются в рулевое колесо. Перебраться на заднее сиденье – значит стать легкоуязвимым, а он в случае необходимости должен иметь возможность в одну секунду отсюда уехать. К тому же он не хочет уснуть слишком крепко, чтобы не упустить Тотеро.

Итак, неудобно согнув длинные ноги, он лежит и воспаленными глазами смотрит вверх баранки через лобовое стекло на ровную свежую голубизну утреннего неба. Сегодня суббота, и небо ясно, просторно и прозрачно, как всегда по субботам, с самого детства, когда субботнее утреннее небо казалось Кролику пустым табло перед предстоящей долгой игрой. Руфбол, хоккей, тетербол, метание стрелок...

По переулку проезжает машина. Кролик закрывает глаза, и темнота вибрирует бесконечным автомобильным шумом минувшей ночи. Он снова видит леса, узкую дорогу, темную, набитую машинами рощу, и в каждой – молчаливая пара. Он снова думает о своей цели – ранним утром улечься на берегу Мексиканского залива, и ему чудится, будто шероховатое сиденье автомобиля – тот самый песок, а шелест пробуждающегося города – шелест моря.

Только бы не прозевать Тотеро. Он открывает глаза и пытается выбраться из своего тесного склепа. Уж не проспал ли он? Однако небо все то же.

Он с тревогой думает об окнах автомобиля. Приподнявшись на локте, проверяет их одно за другим. Стекло над головой чуть-чуть опустилось, он плотно его закрывает и нажимает все стопорные кнопки. Безопасность безнадежно расслабляет. Скрючившись, он втискивает лицо в щель между сиденьем и спинкой. Колени упираются в тугую отвесную подушку, и с досады он окончательно просыпается. Интересно, где ночевал его сын, что делала Дженис, где его искали те и другие родители. Знает ли полиция. При мысли о полиции ему становится не по себе. Поблекшая ночь, которая осталась позади, здесь, на этом месте, кажется ему сетью из телефонных разговоров, торопливых поездок, потоков слез и цепочек слов; ее белые нити, тревожно сновавшие сквозь ночь, теперь поблекли, но все еще существуют, и в самом центре этой невидимой, нависшей над крутыми улицами сети он преспокойно лежит в своей плотно закупоренной пустой клетке.

Хлопок и чайки в полумраке, и как здорово у нее все получалось на чужой кровати, а вот на своей никогда. Но было и хорошее: Дженис очень стеснялась показывать свое тело даже в первые недели после свадьбы, но однажды вечером он безо всякой задней мысли зашел в ванную и вдруг увидел, что зеркало заволокло паром, а Дженис – она только-только вышла из-под душа, – очень довольная, с маленьким голубым полотенцем в руке, лениво стоит, ничуть не стесняясь, нагибается, поворачивается и смеется над выражением его лица – уж какое оно там было – и тянется к нему с поцелуем; у нее порозовевшее от пара тело и скользкий мягкий затылок. Кролик устраивается поудобнее и загоняет память в темную нишу; у нее скользкий затылок, податливая спина. Он ударил ногу об ручку двери, и боль как-то странно сливается с ударами металла о металл в кузовной мастерской неподалеку. Началась работа. Восемь часов? Судя по тому, как пересохли губы, прошло уже много времени. Кролик потягивается и садится; пиджак, которым он был накрыт, сползает на пол, и сквозь запотевшее стекло он и впрямь видит Тотеро, уходящего по переулку. Он уже скрывается за старым фермерским домом; Кролик выскакивает из машины, набрасывает пиджак и мчится за ним.

– Мистер Тотеро! Эй, мистер Тотеро! – Голос его после многих часов молчания звучит надтреснуто и хрипло.

Человек оборачивается, вид у него еще более странный, чем Кролик ожидал. Издали он похож на большого усталого карлика: большая лысеющая голова, толстая спортивная куртка, толстые обрубки ног в синих брюках – они слишком длинные, складка согнулась и зигзагами свисает на башмаки. Кролик замедляет бег, и на последних шагах ему приходит тревожная мысль, не обознался ли он.

Однако Тотеро произносит именно то, что надо.

– Гарри, – говорит он, – изумительный Гарри Энгстром.

Он протягивает Гарри правую руку, а левой крепко вцепляется ему в предплечье. Кролик вспоминает, что у него всегда была твердая рука. Тотеро стоит и, не отпуская Кролика, мрачно улыбается. Нос у него искривлен, один глаз широко открыт, над вторым опустилось тяжелое веко. С годами лицо его становится все более несимметричным. Лысеет он неравномерно – приглаженные седые и светло-коричневые пряди полосами прикрывают череп.

– Мне нужен ваш совет, – говорит Кролик. – То есть, в сущности, мне нужно где-то выспаться.

Тотеро молчит. Сила его как раз и состоит в этих молчаливых паузах; он усвоил этакий педагогический прием – прежде чем ответить, подольше помолчать, пока слова не станут более весомыми.

– А что у тебя дома? – спрашивает он наконец.

– Дома у меня вроде бы и нет.

– То есть как это нет?

– Там было скверно. Я сбежал. Правда.

Новая пауза. Кролик щурится: его слепит солнечный свет, который отскакивает от асфальта. У него ноет левое ухо. Зубы на левой стороне тоже вот-вот разболятся.

– Не слишком-то разумный поступок, – замечает Тотеро.

– Там была жуткая неразбериха.

– В каком смысле неразбериха?

– Сам не знаю. Моя жена алкоголичка.

– А ты пытался ей помочь?

– Ну да. Только как?

– Ты с ней пил?

– Нет, сэр, никогда. Я эту дрянь не перевариваю, просто вкуса не терплю, – с готовностью отвечает Кролик: он горд, что не пренебрегал заботой о своем теле и теперь имеет возможность доложить об этом своему бывшему тренеру.

– А может, и стоило бы, – спустя минуту замечает Тотеро. – Может, если б ты делил с ней это удовольствие, она сумела бы держать себя в узде.

Кролик, ослепленный солнцем, оцепеневший от усталости, не улавливает смысла сказанного.

– Ты ведь, кажется, женат на Дженис Спрингер? – спрашивает Тотеро.

– Да. Господи, как она глупа. Непроходимо глупа.

– Гарри, это очень жестокие слова. Нельзя так говорить. Ни о какой живой душе.

Кролик кивает: Тотеро, как видно, твердо в этом убежден. Он начинает слабеть под тяжестью его пауз. Они стали еще длиннее, словно и сам Тотеро ощущает их вес. Кролику снова становится страшно: уж не рехнулся ли его старый тренер? И он начинает все сначала.

– Я думал, может, соснуть часика два где-нибудь в «Солнечном свете». Иначе придется ехать домой. А я уже сыт по горло.

К его великому облегчению, Тотеро начинает суетиться, берет его под руку, ведет назад по переулку и говорит:

– Да-да, конечно, Гарри, у тебя ужасный вид, Гарри. Ужасный.

Железной рукою вцепившись в Кролика, он подталкивает его вперед, заставляя сжатые кости прямо-таки тереться друг о друга. В мертвой хватке Тотеро есть что-то безумное. Голос его звучит теперь отчетливо, торопливо, весело и, словно острый нож, врезается в ватное тело Кролика.

– Ты просил у меня две вещи, – говорит Тотеро. – Две вещи. Место, где поспать, и совет. Ну вот, Гарри, я дам тебе место, где поспать, при условии, при условии, Гарри, что, когда ты проснешься, у нас с тобой будет серьезный, долгий и серьезный разговор о кризисе в твоей семейной жизни. Скажу тебе сразу, Гарри, я беспокоюсь не столько о тебе, я слишком хорошо тебя знаю и уверен, что ты не пропадешь, Гарри, но дело не в тебе, а в Дженис. У нее нет твоей координации движений. Ты обещаешь?

– Ладно, что именно?

– Обещай мне, Гарри, что мы с тобой подробно обсудим, как ей помочь.

– Ладно, да только я, наверно, не сумею. То есть я хочу сказать, что она не так уж мне нужна. Была нужна, а теперь нет.

Они подходят к цементным ступенькам и к обшитому досками входу. Тотеро открывает дверь своим ключом. В здании пусто, молчаливый бар окутан полутьмой, маленькие круглые столики, когда за ними никто не сидит, кажутся хилыми и шаткими. Электрическая реклама на стене за стойкой выключена и мертва – пыльные трубки и мишура. Тотеро чрезмерно громким голосом произносит:

– Я не верю. Не верю, что мой лучший ученик превратился в такое чудовище.

«Чудовище» – это слово с грохотом топчет вслед за ними по ступенькам лестницы, когда они поднимаются на второй этаж.

– Я немножко посплю, а потом постараюсь подумать, – извиняющимся тоном говорит Кролик.

– Молодец. Это как раз то, что нам надо.

Интересно, кому это – нам? Все столики пусты. Солнце рисует золотые квадраты на коричневых шторах над низкой, черной от пыли батареей. Мужские ноги выбили дорожки на узких голых досках пола.

Тотеро ведет его к двери, в которую он никогда не входил; они поднимаются на чердак по крутой лестнице, похожей на прибитую к стене стремянку, между ступеньками виднеются электрические провода и изодранные обои. Наверху довольно светло.

– Вот моя обитель, – говорит Тотеро, возясь с клапанами от карманов куртки.

Крохотная комнатка выходит на восток. Щель в шторе отбрасывает длинный нож солнечного света на боковую стену над незастланной армейской койкой. Вторая штора поднята. Между окнами стоит комод, хитроумное сооружение из шести связанных проволокой пивных ящиков – три в высоту и два в ширину. В ящиках верхние рубашки в целлофановых мешках из прачечной, аккуратно сложенные нижние рубашки и трусы, скатанные парами носки, носовые платки, начищенные туфли и щетка с вставленной в нее расческой. С двух толстых гвоздей свисают надетые на плечики короткие спортивные куртки ярких, веселых тонов. Дальше одежды хозяйственные заботы Тотеро не простираются. Весь пол в хлопьях пыли. Повсюду пачки газет и всевозможных журналов, от «Нейшнл джеографик» до комиксов и автобиографий бывших уголовников для юношества. Жилище Тотеро незаметно переходит в остальную часть чердака – склад, где хранятся турнирные таблицы для игры в пинокль, бильярдные столы, какие-то доски, металлические бачки и ломаные стулья с плетеными сиденьями, рулон тонкой проволочной сетки; на трубке, укрепленной между двумя наклонными брусками, закрывая свет из окна в дальнем конце помещения, висят костюмы для софтбола.

– Тут есть уборная? – спрашивает Кролик.

– Внизу, Гарри. – Оживление Тотеро снигло, и он кажется смущенным. Из уборной Кролик слышит, как старик суетится наверху, но, возвратившись, никаких перемен не замечает. Постель еще не постлана.

Тотеро ждет, Кролик тоже, и только через некоторое время до него доходит, что Тотеро хочет посмотреть, как он будет раздеваться; он раздевается и в трусах и майке ныряет в смятую теплую постель. Хотя Кролику противно лезть в логово старика, он рад, что можно наконец вытянуться, ощутить рядом крепкую прохладную стену и услышать, как далеко внизу проносятся автомобили, которые, возможно, охотятся за ним. Повернув голову, чтобы сказать пару слов Тотеро, он с удивлением обнаруживает, что остался в одиночестве. Дверь у основания лестницы на чердак закрылась, шаги, удаляясь по первому и второму лестничному маршу, затихают, в наружной двери скребется ключ, за окном кричит какая-то птица, снизу доносится тихое лязганье из кузовной мастерской. При воспоминании, как старик стоял и смотрел на него, Кролика передергивает, но он уверен, что его тренер этим делом не интересуется, Тотеро всегда был бабником, а не педиком. Зачем же он тогда смотрел? И вдруг Кролика осеняет. Это возвращает Тотеро в прошлое. Ведь он всегда стоял в раздевалке и смотрел, как его ребята переодеваются. Решив эту задачу, Кролик весь расслабляется. Он

вспоминает, как парочка, держась за руки, бежала по автомобильной стоянке у придорожного кафе в Западной Виргинии, и жалеет, что не он подцепил ту девицу. Волосы как морские водоросли. Рыжая? Девушки из Западной Виргинии представляются ему неотесанными, нахальными хохотушками вроде молодых тexasских шлюх. Они так сладко растягивали слова, будто все время подшучивали, но ведь ему тогда было всего девятнадцать. Он шагал по улице с Хэнли, Джезило и Шембергером; тесная солдатская форма действовала ему на нервы; равнины со всех сторон уходили за горизонт, такой низкий, не выше чем по колено; в окна домов было видно, как целые семьи, словно куры на насесте, сидят на диванах перед телевизорами. Маньяк Джезило громко гоготал. Кролик никак не мог поверить, что они не ошиблись адресом. В окне были цветы, настоящие живые цветы невинно стояли на окне, и его так и подмывало повернуться и сбежать. Женщина, открывшая дверь, вполне могла бы рекламировать по телевизору сухую смесь для кекса. Однако она сказала:

– Заходите, мальчики, не б-о-о-йтесь, заходите и будьте как д-о-о-м-а, – сказала таким материнским тоном, и действительно там были они, хотя и не так много, как он воображал; они сидели в гостиной на старомодных стульях с шишечками и завитушками. Что придавало ему смелости, так это их вид – довольно-таки невзрачный, как у простых фабричных работниц, их и девушками-то не назовешь. На лицах у них был какой-то отблеск, как под лампой дневного света. Они забросали солдат шуточками, словно шариками из пыли, парни стали смеяться и, оторопев от неожиданности, сгрудились в кучу. Та, которую он выбрал, вернее, выбрала его она – подошла и тронула за руку, – в блузе, застегнутой только на две нижние пуговицы, спросила наверху сладким надтреснутым голосом, как он хочет – включить свет или выключить, и, когда он сдавленным голосом ответил «выключить», засмеялась, а после улыбалась, добродушно приговаривая:

– Молодец, мальчик. Ты просто молодец. Да-а-а-а. Ты уже ученый.

И когда все кончилось, он – по усталым складкам в уголках ее рта и еще по тому, что она ни за что не хотела полежать с ним рядом, а упрямо поднялась, села на край металлической кровати и уставилась в зеленое ночное небо за темным окном, – понял, что она просто играла свою роль. Его разозлила ее немая спина с желтовато-белой полоской бюстгалтера, он схватил ее за плечо и грубо повернул к себе. В полумраке тяжелые тени ее груди казались такими беззащитными, что он отвернулся. «Милый, ты ведь только за один раз заплатил», – проговорила она ему в ухо. Славная бабенка, ее только деньги



интересуют. Снизу тихо доносится лязганье из кузовной мастерской. Этот шум успокаивает его, говорит, что он в безопасности, и, пока он тут прячется, люди заколачивают гвоздями все на свете, и его сердце шлет из темноты привет этим бесплотным звукам.

Сны ему снятся какие-то пустые и смутные. Ноги дергаются. Губы шевелятся. Когда он поворачивает глазные яблоки, оглядывая внутренние стены поля зрения, кожа век трепещет. В остальном он безобиден, словно труп. Нож солнечного света медленно перемещается вниз по стене, разрезает ему грудь, монеткой падает на пол и исчезает. Окутанный тенью, он внезапно просыпается, и его призрачные голубые радужки шарят по незнакомым плоскостям в поисках источника мужских голосов. Голоса раздаются внизу; судя по грохоту, люди передвигают мебель и, разыскивая его, описывают круги. Но раздается знакомый звучный бас Тотеро, и, кристаллизуясь вокруг этого центра, шум внизу принимает форму звуков, сопровождающих игру в карты, выпивку, грубые шутки и дружеские беседы. Кролик ворочается в своем жарком логове, обращает лицо к прохладному товарищу-стене и сквозь красный конус сознания снова проваливается в сон.

– Гарри! Гарри! – Голос дергает его за плечо, ерошит волосы. Кролик откатывается от стены, ища глазами исчезнувший солнечный свет. В тени беспокойной темной глыбой сидит Тотеро. Его грязно-молочное лицо, перекошенное улыбкой, наклоняется вперед. От него пахнет виски.

– Гарри, я нашел тебе девушку!

– Здорово. Тащите ее сюда.

Старик смеется. Смущенно? Что у него на уме?

– Это Дженис?

– Уже седьмой час. Вставай, Гарри, вставай, ты спал как дитя. Мы уходим.

– Зачем? – Кролик хочет спросить: «Куда?»

– Питаться, Гарри, обедать. О-Б-Е-Д-А-Т-Ь. Вставай, мой мальчик. Неужели ты не голоден? Голод. Голод. – Он явно рехнулся. – О, Гарри, тебе не понять, что такое стариковский голод, человек ест и ест, и ему все время кажется, что еда не та. Тебе этого не понять. – Он подходит к окну, смотрит вниз на переулок, и в тусклом свете его неуклюжий профиль кажется свинцовым.

Кролик сбрасывает одеяло и, перекинув голые ноги через край кровати, старается принять сидячее положение. Вид собственных бедер, параллельных, чистых и гладких, взбадривает вялый мозг. Волосы на ногах, некогда тонкая рыжеватая шкура, потемнели и напоминают жесткие бакенбарды. В ноздри вливается запах собственного сонного тела.

– Что там за девушка? – спрашивает он.

– Что за девушка, да, что за девушка? Подстилка! – выпаливает Тотеро, и в сером свете, падающем из окна, лицо его вытягивается, словно он сам изумлен, услышав из своих уст такую гадость. В то же время он наблюдает, как будто поставил некий опыт. Определив результат, он поправляет самого себя: – Нет. Просто у меня есть одна знакомая, знакомая в Бруэре, так сказать, дама сердца; раз в год я приглашаю ее обедать в ресторан. И больше ничего, почти ничего. Ты такой невинный младенец, Гарри.

Речи Тотеро настолько бессвязны, что Кролику становится не по себе. Он встает с кровати.

– Пожалуй, мне пора. – К голым ступням прилипает мусор с пола.

– Ах, Гарри, Гарри! – восклицает Тотеро громким голосом, в котором горечь смешивается с нежностью, и, подойдя к нему, обнимает его одной рукой. – Мы с тобой два сапога пара. – Большое перекошенное лицо доверчиво обращено к Кролику, но тот не совсем понимает, о чем речь. Однако воспоминания об этом человеке, бывшем его тренере, заставляют слушать дальше. – Мы с тобой знаем, что к чему. Мы знаем... – Добравшись до самой сути своей тирады, Тотеро обалдело умолкает.

– Знаем, знаем, – твердит он, отнимая руку.

– Я думал, что, когда проснусь, мы поговорим о Дженис, – вставляет Кролик. Подняв с пола брюки, он натягивает их на себя. Их жеваный вид беспокоит его, напоминает, какой важный шаг он совершил, и от этой мысли в животе и в горле начинаются нервные спазмы.

– Поговорим, поговорим, – соглашается Тотеро. – Как только выполним наши общественные обязательства. – Пауза. – Ты хочешь вернуться? Ты скажи, если хочешь.

Кролик вспоминает идиотскую щель ее рта, вспоминает, как дверь стенового шкафа бьет по телевизору.

– Упаси бог.

Тотеро в восторге, от счастья он без умолку болтает.

– Вот и прекрасно, вот и прекрасно, давай одеваться. Мы не можем ехать в Бруэр, не одевшись. Тебе нужна чистая рубашка?

– Но ведь ваша мне не подойдет?

– Почему, Гарри? Какой у тебя размер?

– Сорок второй, третий рост.

– Как у меня! В точности как у меня! Для твоего роста у тебя короткие руки. О, это просто замечательно, Гарри. Не могу тебе передать, как много для меня значит, что, когда тебе потребовалась помощь, ты пришел ко мне. Все эти годы, – говорит он, доставая из самодельного комода рубашку и срывая с нее целлофановую обертку, – все эти годы все эти ребята, они проходят через твои руки и растворяются в эфире. И никогда не возвращаются, Гарри, никогда не возвращаются.

Кролик с удивлением чувствует и видит в мутном зеркале, что рубашка Тотеро ему в самый раз. Очевидно, вся разница между ними только в длине ног.

Тотеро трещит без умолку, словно преисполненная гордости мамаша, и смотрит, как он одевается. Теперь, когда ему уже не надо объяснять, что` именно они будут делать, он перестает смущаться, и его речи становятся более осмысленными.

- Прямо душа радуется, - говорит он. - Молодость перед зеркалом. Признайся, Гарри, когда ты в последний раз развлекался? Давно?

- Вчера ночью, - отвечает Кролик. - Я съездил в Западную Виргинию и обратно.

- Тебе понравится моя дама, непременно понравится, этакий городской цветочек, - продолжает Тотеро. - Девушку, которая с ней придет, я никогда не видел. Говорит, она толстая. Моей даме все на свете кажутся толстыми: видел бы ты, как она ест, Гарри! Аппетит молодости. Как ты здорово повязал галстук, нынешняя молодежь знает столько разных штук, каких мне и во сне не снилось.

- Обыкновенный виндзор. - Одевшись, Кролик снова успокаивается. Пробуждение каким-то образом возвратило его в мир, который он покинул. Ему не хватало докучного присутствия Дженис, малыша с его шумными потребностями, своих четырех стен. Он сам не знал, что делает. Но теперь эти рефлексии, всего лишь поверхностные царапины, иссякли, и на передний план выступили более глубокие инстинкты, которые убеждают его, что он прав. Он дышит свободой, она - как кислород, везде, кругом; Тотеро - вихрь воздуха, а здание, в котором он находится, и улицы поселка всего лишь лестницы и дороги в пространстве. Свобода, в которую простым усилием его воли кристаллизовался мировой хаос, настолько законченна и совершенна, что все пути кажутся равно прекрасными, все движения будут одинаково мягко ласкать кожу, и, если б даже Тотеро сказал ему, что они сейчас встретятся не с двумя девицами, а с двумя козами и поедут не в Бруэр, а в Тибет, счастье его не умалилось бы ни на йоту. Он завязывает галстук с бесконечным тщанием, как будто линии виндзорского узла, воротник рубашки Тотеро и основание его собственной шеи - руки звезды и, когда он кончит, они протянутся к самому краю Вселенной. И вообще, он - далай-лама. Словно облачко, возникшее в уголке его поля зрения, Тотеро подплывает к окну.

- Мой автомобиль еще здесь? - спрашивает Кролик.

- Он синий? Здесь. Надевай башмаки.

- Интересно, видел его тут кто-нибудь или нет. Вы не слышали никаких разговоров, пока я спал? - Ибо Кролик вспомнил, что в необъятной пустоте его свободы имеются кое-какие несовершенства: дом его родителей, дом родителей жены, их квартира - сгустки забот. Едва ли бег времени мог так быстро их растворить, но, судя по ответу Тотеро, именно так оно и есть.

- Нет, - говорит он. И добавляет: - Впрочем, я не был там, где могли о тебе говорить.

Кролика бесит, что для Тотеро он всего лишь спутник в увеселительной поездке.

- Я должен был сегодня идти на работу, - резко замечает он, словно во всем виноват старик. - Суббота для меня большой день.

- Кем ты работаешь?

- Демонстрирую кухонный прибор под названием Чудо-Терка в магазинах десяти- и пятицентовых товаров.

- Благородная профессия, - говорит Тотеро, отворачиваясь от окна. - Великолепно, Гарри. Ты наконец оделся.

- Есть у вас какая-нибудь расческа, мистер Тотеро? И еще мне надо в сортир.

Внизу свистят и смеются над всякой чепухой члены спортивной ассоциации «Солнечный свет». Кролик представляет себе, как он пойдет мимо них, и спрашивает:

- Скажите, непременно надо, чтобы все меня видели?

Тотеро возмущается, как в свое время на тренировках, когда ребята вместо того, чтоб заниматься делом, дурачились у сетки.

- Кого ты боишься, Гарри? Этой несчастной козявки Дженис Спрингер? Ты переоцениваешь людей. Никому до тебя нет дела. Сейчас мы попросту сойдем

вниз; только не задерживайся в туалете. Я еще не слышал от тебя благодарности за все, что я для тебя сделал и делаю.

Вынув из щетки расческу, он подает ее Гарри.

Боязнь омрачить свободу мешает произнести простые слова благодарности.

– Спасибо, – поджав губы, бормочет Кролик.

Они спускаются вниз. Вопреки уверениям Тотеро все мужчины – большей частью старые, хотя и не настолько, чтобы их бесформенные тела окончательно утратили свою тошнотворную бодрость, – с интересом на него смотрят. Тотеро снова и снова его представляет:

– Фред, это мой лучший ученик, замечательный баскетболист Гарри Энгстром, ты, наверно, помнишь его имя по газетам, он дважды поставил рекорд округа – сперва в тысяча девятьсот пятидесятом, а потом сам побил его в тысяча девятьсот пятьдесят первом, это был изумительный результат.

– Что ты говоришь, Марти!

– Гарри, сочту за честь с вами познакомиться.

Их живые бесцветные глазки – такие же смазанные пятна, как и их темные рты, – пожирают его странную фигуру, а потом отправляют острые впечатления вниз, чтобы переварить их в своих отвратительных, раздутых от пива утробах. Кролику ясно, что Тотеро для них просто шут, и ему стыдно за своего друга и за себя. Он скрывается в уборной. Краска на сиденье облупилась, раковина вся в потеках от ржавых слез крана с горячей водой, стены засалены, на вешалке нет полотенца. Высота крошечного помещения наводит жуть – один квадратный ярд потолка затянут густой паутиной, в которой висят спеленатые белесой пленкой мухи. Подавленное настроение Кролика усиливается, превращаясь в какой-то паралич; он выходит и присоединяется к прихрамывающему и гримасничающему Тотеро, и они, словно во сне, покидают клуб. Тотеро влезает к нему в автомобиль, и Кролик злится на его непрошеное вторжение. Но, как и полагается во сне, не утруждая себя вопросами, садится за руль и, когда его руки и ноги возобновляют контакт с рычагами и педалями, вновь обретает силу. Мокрые приглаженные волосы плотно облегают голову.

– Значит, по-вашему, я должен был пить вместе с Дженис, – отрывисто бросает он.

– Действуй по велению сердца, – говорит Тотеро. – Сердце – наш единственный советчик. – Голос его звучит устало и как бы издалека.

– В Бруэр?

Ответа нет.

Кролик проезжает по переулку, сворачивает на Поттер-авеню, вдоль которой прежде шла канава с водой с фабрики искусственного льда. Едет направо, подальше от Уилбер-стрит, где его квартира; еще два поворота выводят его на Центральную улицу, которая огибает гору по направлению к Бруэру. Слева земля уходит в глубокую расселину, по дну которой бесшумно течет широкая быстрая река Скачущая Лошадь; справа светятся бензоколонки, мигают гирлянды разноцветных лампочек, протестуют фары.

По мере того как городская застройка редееет, у Тотеро все больше развязывается язык.

– Сейчас мы встретимся с дамами, Гарри; я не имею понятия о второй, но знаю, что ты будешь джентльменом. И ручаюсь, что моя приятельница тебе понравится. Это замечательная девушка, Гарри; все обстоятельства с самого рождения были против нее, но она сделала большое дело.

– Какое?

– Она бросила им вызов. В этом весь секрет – бросить вызов. Ты согласен, Гарри? Я счастлив, счастлив и считаю за честь иметь с ней даже такие, я бы сказал, весьма далекие отношения.

– Да?

– Известно ли тебе, Гарри, что у молодых женщин все тело покрыто волосами?

– Я об этом не думал. – Отвращение обволакивает ему горло.

– А ты подумай, – продолжает Тотеро. – Подумай. Они обезьяны, Гарри. Женщины – обезьяны.

Он говорит это с таким серьезным видом, что Кролик невольно смеется.

Тотеро тоже смеется и подвигается к нему:

– Однако мы их любим, верно, Гарри? Почему мы их любим? Ответь мне на этот вопрос, Гарри, и ты разгадаешь загадку бытия. – Он ерзает на сиденье, суетливо дергает ногами, наклоняется, хлопает Кролика по плечу, откидывается назад, выглядывает в окно, снова поворачивается и снова хлопает его по плечу. – Я ужасный человек, Гарри. Человек, вызывающий отвращение. Гарри, сейчас я тебе что-то скажу. – Будучи тренером, он вечно что-то всем говорил. – Моя жена утверждает, что я человек, вызывающий отвращение. Но знаешь, с чего это все началось? Это началось с ее кожи. Однажды весной, в тысяча девятьсот сорок третьем или сорок четвертом, во время войны, ее кожа вдруг ни с того ни с сего стала отвратительной. Словно сшили в одну шкурку тысячи ящериц. Сшили кое-как. Ты можешь себе это представить? Ощущение, что кожа ее состоит из отдельных кусков, привело меня в ужас, Гарри! Ты меня слушаешь? Ты не слушаешь. Ты думаешь о том, зачем ты ко мне пришел.

– Меня немного беспокоит то, что вы утром сказали про Дженис.

– Дженис! Не будем говорить о маленьких идиотках вроде Дженис Спрингер, мой мальчик. Сегодня наш вечер. Сейчас не время для жалости. С деревьев падают настоящие женщины. – Он показывает руками, как с деревьев что-то падает. Плип-плип-плип.

Хотя Кролику ясно, что этот человек псих, его все равно разбирает нетерпение. Они ставят машину в стороне от Уизер-авеню и встречают девиц у дверей китайского ресторана.

Девицы, стоящие под малиновым неоном, изящны, как цветки; красный свет, обрамляя их пушистые волосы, придает им легкий оттенок увядания. Сердце Кролика, обгоняя его, с глухим стуком устремляется вперед по мостовой. Когда они подходят, Тотеро представляет ему Маргарет:



– Маргарет Коско – Гарри Энгстром, мой лучший спортсмен; я счастлив, что мне довелось представить друг другу двоих столь выдающихся молодых людей. – В поведении старика чувствуется странная робость; он вот-вот закашляется.

После его неумеренных восхвалений Кролик с изумлением видит, что Маргарет всего лишь копия Дженис – такая же землисто-бледная козявка, такое же непроходимое упрямство. Еле шевеля губами, она лепечет:

– Рут Ленард, Марти Тотеро, и вы, как вас там.

– Гарри, – говорит Кролик. – Он же Кролик.

– Точно! – восклицает Тотеро. – Ребята звали тебя Кроликом. А я и забыл. – Он откашливается.

– Довольно-таки крупный кролик, – замечает Рут. Рядом с Маргарет она кажется толстой, но не так чтобы уж очень. Она скорее плотная. Но высокая. У нее блеклые голубые глаза в прямоугольных глазницах. Крутые бедра распирают платье. Грязновато-рыжие волосы собраны узлом на затылке. На платной стоянке у нее за спиной отступают вдоль поребрика счетчики с красными язычками, а у ног, втиснутых в лиловые ремешки, буквой Х сходятся четыре квадратные плиты тротуара.

– Я большой только снаружи, – говорит он.

– Я тоже, – отзывается она.

– О господи, как я голоден, – обращается Кролик ко всей компании, чтобы хоть что-нибудь сказать. Его почему-то бросает в дрожь.

– Голод, голод, – твердит Тотеро, словно радуясь, что ему подсказали тему для разговора. – Куда направятся мои малютки?

– Сюда? – спрашивает Гарри. По взглядам, которые бросают на него обе девицы, он видит, что бразды правления должен взять на себя он. Тотеро, пятясь как рак, натывается на проходящую мимо пожилую пару. От толчка на лице его изображается такое изумление и он так многословно извиняется, что Рут

хохочет; смех ее разносится по улице, словно брошенная оземь горсточка монет. Эти звуки снимают напряжение, и Кролик чувствует, как наполняется теплым воздухом пространство между мышцами груди. Тотеро первым протискивается сквозь стеклянные двери, Маргарет идет за ним, а Рут берет Кролика под руку и говорит:

– Я вас знаю. Я училась в средней школе в Уэст-Бруэре и окончила в пятьдесят первом.

– И я в пятьдесят первом. – Значит, они ровесники, это радует, как прикосновение ее ладони, словно оба они даже в школах на разных концах города выучили одно и то же и приобрели одни и те же взгляды на жизнь. Взгляды выпуска пятьдесят первого года.

– Вы нас обыграли, – говорит она.

– У вас была паршивая команда.

– Ничего подобного. Я дружила с тремя игроками.

– Сразу с тремя?

– Вроде бы да.

– То-то у них был такой усталый вид.

Она снова хохочет, монетки снова сыплются на землю, и, хотя ему стыдно за свои слова, она кажется такой добродушной, а в те времена, может, даже была хорошенькой. Теперь цвет лица у нее скверный. Однако волосы густые, и по ним можно судить.

Молодой китаец в грязновато-сером полотняном кителе преграждает им путь возле стеклянной стойки, за которой девушка-американка в кимоно пересчитывает истрепанные ассигнации.

– Простите, сколько вас?

– Четверо, – отвечает Кролик, убедившись, что Тотеро молчит.

Неожиданно Рут величественным жестом сбрасывает короткое белое пальто и подает его Кролику. От мягкой буклированной ткани поднимается волна духов.

– Четверо, пожалуйста, сюда.

Официант ведет их в красную кабинку. Заведение только недавно стало китайским, и на стенах еще висят розовые виды Парижа. Рут слегка пошатывается; Кролик, шагая сзади, замечает, что ее желтые от напряжения пятки то и дело разъезжаются в разные стороны в переплете лиловых ремешков, пригвождающих ноги к шпилькам-каблукам. Однако широкий зад, влитый в блестящее зеленое платье, сохраняет спокойствие. Плотная талия подтянута так же аккуратно, как прямые линии ее лица. Вырез платья обнажает треугольник жирной белой спины. Подходя к кабинке, он наталкивается на нее и тычется носом ей в макушку. Острый запах ее волос смешивается с запахом духов. Столкнулись они потому, что Тотеро очень уж церемонно провожает Маргарет на место – ни дать ни взять гном у входа в пещеру. Ожидая своей очереди, Кролик с восторгом думает, что какой-нибудь незнакомец, проходя мимо ресторанный окна, как он сам вчера вечером проходил за окном того западновиргинского кафе, увидит его с женщиной. Ему кажется, что он и есть тот незнакомец, который с завистью смотрит в окно на его тело и на тело его женщины. Рут нагибается и проскальзывает на свое место. Кожа на ее плечах вспыхивает, потом тускнеет в тени кабинки. Кролик садится рядом, чувствуя, как она, устраиваясь поудобнее, со свойственной женщинам суетливостью шелестит платьем, словно вьет себе гнездо.

Оказывается, он все еще держит ее пальто. Бледная мягкая шкурка дремлет у него на коленях. Не вставая, он протягивает руку и вешает пальто на крючок вешалки.

– Хорошо иметь длинные руки, – говорит она, заглядывает в сумочку и достает пачку сигарет «Ньюпорт».

– А Тотеро говорит, что руки у меня короткие.

– Где вы откопали этого старого бездельника? – громко, чтобы Тотеро при желании мог услышать, спрашивает Рут.

- Он не бездельник, он мой бывший тренер.

- Хотите сигарету?

- Я бросил курить, - нерешительно отвечает он.

- Значит, этот старый бездельник был вашим тренером, - вздыхает она. Затем вынимает из бирюзовой пачки «Ньюпорта» сигарету, втыкает в оранжевые губы и, хмуро покосившись на серный кончик бумажной спички, по-женски неуклюже чиркает ею от себя; при этом она держит спичку боком, отчего та сгибается и загорается лишь с третьего раза.

- Рут, - произносит Маргарет.

- Бездельник? - повторяет Тотеро; его тяжелое нездоровое лицо кривится в кокетливой усмешке, словно он уже начал таять. - Да, я бездельник, бездельник. Гнусный старый бездельник, угодивший в общество принцесс.

Маргарет, не усмотрев в этом ничего уничижительного для себя, кладет руку на его руку, лежащую на столе, и с убийственной серьезностью заявляет:

- Никакой вы не бездельник.

- Где наш юный конфуцианец? - подняв другую руку, оглядывается вокруг Тотеро. Когда юноша подходит, он спрашивает: - Здесь подают алкогольные напитки?

- Мы приносим их от соседей, - отвечает юноша.

Забавно, что у китайцев брови не торчат, а словно вдавлены в кожу.

- Двойной шотландский виски, - говорит Тотеро. - Вам, дорогая?

- Дайкири. - Ответ Маргарет звучит как острота.

- Вам, детка?

Кролик смотрит на Рут. Лицо ее облеплено оранжевой пылью. Ее волосы, волосы, которые с первого взгляда казались не то грязно-пепельными, не то блекло-каштановыми, на самом деле разноцветные – рыжие, желтые, коричневые и черные; в ярком свете каждый волосок принимает множество различных оттенков, как у собаки.

– Черт его знает, – отвечает она. – Пожалуй, дайкири.

– Три, – говорит Кролик юноше. Он думает, что дайкири нечто вроде лаймового сока.

Официант повторяет:

– Три дайкири, один двойной шотландский виски со льдом, – и уходит.

– Когда ваш день рождения? – спрашивает Кролик у Рут.

– В августе. А что?

– А мой в апреле. Моя взяла!

– Ваша взяла, – соглашается она, как будто понимает его мысль: нельзя чувствовать полное превосходство над женщиной, которая старше тебя.

– Если вы узнали меня, почему вы не узнали мистера Тотеро? Он был тренером нашей команды.

– Кто смотрит на тренеров? Никакого проку от них нет.

– То есть как это нет? Школьная команда – это только тренер, верно?

– Школьная команда – это только ребята, – отзывается Тотеро. – Из свинца золота не сделаешь. Да, из свинца золота не сделаешь.

– А вы делали, – возражает Кролик. – Когда я попал в школьную команду, я головы от локтя отличить не мог.

– Мог, еще как мог, Гарри. Я ничему тебя не научил, я просто предоставил тебя самому себе. – Он все время оглядывается. – Ты был юный олень с большими ногами, – продолжает он.

– Какого размера? – интересуется Рут.

– Сорок четвертого, – отвечает Кролик. – А у вас какой?

– У меня маленький-премаленький, – отвечает Рут. – Ножки-крошки.

– А мне показалось, будто они вываливаются из туфель.

Он опускает голову, стараясь заглянуть под стол, в подводный полумрак, где ее укороченные перспективой икры висят как две коричневые рыбы. Они ныряют под стул.

– Не смотрите так пристально, а то вывалитесь из кабинки, – говорит она с досадой. Это хорошо. Женщины любят, когда их приводят в смущение. Ни за что в этом не признаются, но это факт.

Официант приносит напитки, бумажные салфетки под тарелки и тусклое серебро. Положив прибор для Маргарет, он подходит к Тотеро, как вдруг тот отнимает от губ стакан с виски и освеженным твердым голосом произносит:

– Вилки и ложки? Для восточных блюд? Разве у вас нет палочек?

– Палочки, да.

– Всем палочки, – решительно заявляет Тотеро. – В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

– Моих не трогайте! – вопит Маргарет, со звоном хлопая рукой по своей ложке и вилке, когда официант хочет их убрать. – Не желаю никаких палочек.

– Гарри и Рут, – обращается к ним Тотеро. – Что предпочитаете вы?

Дайкири и в самом деле отдает лаймом, вкус которого, словно масло, растекается по поверхности прозрачной терпкой жидкости.

– Палочки, – звучным низким голосом отвечает Кролик, радуясь, что можно досадить Маргарет. – В Техасе мы никогда не прикасались металлом к китайским кушаньям.

– Рут? – Тотеро смотрит на нее робко и напряженно.

– Пожалуй. Если этот балбес может, то и я могу. – Она гасит сигарету и берет из пачки вторую.

Официант удаляется с отвергнутым серебром, словно подружка невесты с букетом. Маргарет остается в одиночестве, и это ее бесит. Кролик доволен; она – тень на его безоблачном счастье.

– Вы ели в Техасе китайские блюда? – интересуется Рут.

– Все время. Дайте сигарету.

– Вы же бросили курить.

– А теперь начал. Дайте десять центов.

– Десять центов! Черта с два!

Излишняя резкость ее отказа обижает Кролика, он звучит так, словно она хочет заработать. Почему она думает, что он собирается ее обокрасть? Что он может украсть? Сунув руку в карман, Кролик вынимает горсть мелочи, берет десятицентовик и вставляет в маленький, отделанный слоновой костью музыкальный автомат, который мягко светится возле их стола. Наклонившись и перелистав список мелодий, он нажимает кнопки «В» и «7» – «Роксвилл».

– Китайская кухня в Техасе лучшая в Соединенных Штатах, кроме Бостона, – заявляет он.

- Слушайте великого путешественника, - говорит Рут и дает ему сигарету. Он прощает ее за десятицентовик.

- Итак, вы полагаете, - настаивает Тотеро, - что тренеры ничего не делают.

- Они никому не нужны, - отвечает Рут.

- Да бросьте вы, - вступается Кролик.

Официант возвращается с палочками и с двумя меню. Кролик разочарован: у палочек такой вид, словно они вовсе не деревянные, а пластмассовые. От сигареты отдает соломой. Он вынимает ее изо рта. Нет уж, хватит.

- Каждый закажет по блюду, а потом мы все поделимся, - предлагает Тотеро. - Кто что любит?

- Я кисло-сладкую свинину, - заявляет Маргарет. Что ни говори, решительности у нее не отнимешь.

- Гарри?

- Не знаю.

- Вот тебе и специалист по китайской кухне, - замечает Рут.

- Здесь написано по-английски. Я привык заказывать по китайскому меню.

- Ладно, ладно, скажите мне, что самое вкусное.

- Отстаньте, вы мне совсем голову заморочили.

- Вы никогда не были в Техасе, - говорит Рут.

Он вспоминает дом на той незнакомой, лишенной деревьев улице, зеленую ночь, встающую из прерий, цветы в окне и отвечает:



– Конечно был.

– А что вы там делали?

– Служил у дядюшки Сэма.

– А, в армии, так это не в счет. Все были на военной службе в Техасе.

– Заказывайте по своему вкусу, – говорит Кролик Тотеро. Его раздражают все эти ветераны, с которыми Рут, как видно, зналась, и он напряженно вслушивается в последние такты песни, на которую потратил десятицентовик. В этом китайском заведении она доносится как будто из кухни и лишь весьма отдаленно напоминает ту разудалую мелодию, которая прошлой ночью так подбодрила его в машине.

Тотеро дает официанту заказ и, когда тот уходит, пытается разубедить Рут. Тонкие губы старика мокры от виски.

– Тренер, – говорит он, – тренер печется о развитии трех орудий, которыми нас наделила жизнь. Это голова, тело и сердце.

– И еще пах, – добавляет Рут.

Смеется – кто бы мог подумать? – Маргарет. Кролика от этой девицы прямо-таки оторопь берет.

– Юная леди, вы бросили мне вызов, и теперь я требую вашего внимания. – Тотеро преисполнен важности.

– Чушь, – тихо отвечает Рут, опустив глаза. – Отвяжитесь вы от меня. – Он ее рассердил. Крылья ее носа белеют, грубо накрашенное лицо потемнело.

– Во-первых, голова. Стратегия. Мальчишки большей частью приходят к баскетбольному тренеру с дворовых площадок и не имеют понятия – как бы это получше выразиться – об изяществе игры на площадке с двумя корзинами. Надеюсь, ты меня поддержишь, Гарри?

– Еще бы. Как раз вчера...

– Во-вторых, – я кончу, Гарри, и тогда скажешь ты, – во-вторых, тело. Выработать у мальчиков спортивную форму. Придать их ногам твердость. – Он сжимает в кулак руку на полированном столе. – Твердость. Бегать, бегать, бегать. Пока их ноги стоят на земле, они должны все время бегать. Сколько ни бегай, все будет мало. В-третьих, – большим и указательным пальцами другой руки он смахивает влагу с уголков губ, – в-третьих, сердце. И здесь перед хорошим тренером, каким я, юная леди, безусловно, старался быть и, как утверждает кое-кто, в самом деле был, здесь перед ним открываются самые серьезные возможности. Воспитать у мальчиков волю к совершенству. Я всегда считал, что она важнее воли к победе, ибо совершенство возможно даже в поражении. Заставить их ощутить – да, это слово, пожалуй, подходит, – ощутить святость совершенства, понять, что каждый должен дать все, на что способен. – Теперь он позволяет себе сделать паузу и, поочередно взглядывая на слушателей, заставляет их прикусить языки. – Мальчик, чье сердце сумел облагородить вдохновенный тренер, – заключает он свою речь, – никогда уже – в глубочайшем смысле этого слова, – никогда уже не станет неудачником в более серьезной игре жизни. А теперь очи всех на Тебя, Господи, et cetera... – Он поднимает к губам стакан, в котором не осталось почти ничего, кроме кубиков льда. Когда стакан опрокидывается, они съезжают вниз и со звоном катятся к его губам.

Обернувшись к Кролику, Рут спокойно, словно желая переменить тему, спрашивает:

– Чем вы занимаетесь?

– Я не уверен, что теперь вообще чем-либо занимаюсь, – смеется он. – Сегодня утром я должен был пойти на работу. Я... это довольно трудно объяснить... я демонстрирую нечто, называемое Чудо-Теркой.

– И я уверен, что это получается у него превосходно, – вмешивается Тотеро. – Я уверен, что, когда члены Совета Корпорации Чудо-Терок собираются на свое ежегодное совещание и задают себе вопрос: «Кто больше всех способствовал успеху нашего дела среди американской публики?» – имя Гарри Кролика Энгстрема оказывается первым в списке.

– А вы чем занимаетесь? – в свою очередь интересуется Кролик.

– Ничем, – отвечает Рут. – Ничем. – Ее веки сальной голубой занавеской опускаются над бокалом дайкири. На подбородок ложится зеленоватый отсвет жидкости.

Приносят китайские блюда. У Кролика прямо слюнки текут. Он и вправду не пробовал их после Техаса. Он любит эту пищу, в которой не найти следов зарезанных животных – кровавых кусков задней части коровы, жилистого скелета курицы; их призраки мелко изрублены, уничтожены и безболезненно смешаны с неодошевленными овощами, чьи пухлые зеленые тела возбуждают в нем невинный аппетит. Прелесть. Все это лежит на дымящейся грудке риса. Каждый получает такую аккуратную горячую грудку, и Маргарет торопливо перемешивает свою порцию вилкой. Все с удовольствием едят. От овальных тарелок поднимается терпкий запах коричневой свинины, сахарного горошка, цыпленка, густого сладкого соуса, креветок, водяного ореха и невесть чего еще. Лица наливаются здоровым румянцем. Разговор оживляется.

– Он был страшен, – говорит Кролик про Тотеро. – Он был величайшим тренером округа. Без него я был бы ничто.

– Нет, Гарри, ты не прав. Ты сделал для меня больше, чем я для тебя. Девушки, в первой же игре он набрал двадцать очков.

– Двадцать три, – уточняет Кролик.

– Двадцать три очка! Вы только подумайте! – Девушки продолжают есть. – Гарри, помнишь состязания на первенство штата в Гаррисберге – и маленького чемпиона из Деннистона?

– Да, он был совсем коротышка, – говорит Гарри Рут. – Пять футов два дюйма, уродливый, как обезьяна. И притом нечестный игрок.

– Да, но свое дело он знал, – говорит Тотеро, – свое дело он знал. Гарри столкнулся с сильным противником.

– А помните, как он поставил мне подножку?

– Верно, я и забыл, – подтверждает Тотеро.

- Этот коротышка ставит мне подножку, и я лечу кувырком. Если б стенка не была обита матами, я бы разбился насмерть.

- А что было дальше, Гарри? Ты его отделал? Я совсем забыл про этот случай. - У Тотеро полный рот, его одолевает страшная жажда мести.

- Да нет, - медленно отвечает Кролик. - Я никогда не нарушал правил. Рефери все видел, а так как это было уже в пятый раз, его удалили с поля. И тогда мы их расколошматили.

В лице Тотеро что-то гаснет, оно становится рыхлым и вялым.

- Верно, ты никогда не нарушал правил. Никогда. Гарри всегда был идеалистом.

- Просто не было нужды, - пожимает плечами Кролик.

- И второе удивительное свойство Гарри - с ним никогда ничего не случилось, - сообщает Тотеро девушкам.

- Нет, однажды я растянул запястье, - поправляет Кролик. - Но что мне действительно помогло, как вы сказали, так это...

- А что было дальше? Просто ужас, до чего я все забыл.

- Дальше? Дальше был Пенноак. Ничего не было. Они нас побили.

- Они победили? Разве не мы?

- Да нет же, черт возьми. Они здорово играли. У них было пять сильных игроков. А у нас? По правде говоря, только я один. У нас был Гаррисон, он был о'кей, да только после той футбольной травмы он уже больше никогда не оправился.

- Ронни Гаррисон? - спрашивает Рут.

- Вы его знаете? - с тревогой спрашивает Кролик. Гаррисон был знаменитый бабник.

- Я не уверена, - довольно равнодушно отзывается Рут.

- Невысокого роста, курчавый. Чуть-чуть прихрамывает.

- Нет, не знаю, - говорит она. - Пожалуй, нет.

Как ловко она управляется одной рукой с палочками; другая лежит на коленях ладонью вверх. Он с удовольствием смотрит, как она наклоняет голову, как наивная толстая шея подается вперед, сухожилия на плече напрягаются, губы смыкаются вокруг куска. Палочки точно рассчитанным движением зажимают еду. Просто удивительно, сколько нежности у этих толстух. Маргарет - та, словно лопатой, сгребает еду тусклой изогнутой вилкой.

- Мы проиграли, - повторяет Тотеро, зовет официанта и просит еще раз повторить те же напитки.

- Мне больше не надо, спасибо, - говорит Кролик. - Я уже и так пьян.

- Вы просто большой пай-мальчик, - говорит Маргарет. Она до сих пор не усвоила, как его зовут. Господи, до чего она ему противна.

- О чем я начал говорить и что, по вашим словам, мне и вправду помогло, так это умение брать мяч обеими руками, едва касаясь его большими пальцами. Вся штука в том, чтоб держать мяч перед собой, и тогда появляется это славное легкое чувство. Мяч со свистом сам летит вперед. - Он показывает руками, как это делается.

- Ах, Гарри, - грустно замечает Тотеро, - когда ты ко мне пришел, ты уже умел бросать мяч. Я внушил тебе всего лишь волю к победе. Волю к совершенству.

- Знаете, моя лучшая игра была не в тот раз, когда мы набрали сорок очков против «Аленвилла», а в предпоследнем классе. Мы в самом начале сезона поехали в дальний конец округа в маленькую забавную провинциальную школу, там было всего около сотни учеников во всех шести классах. Как этот городишко назывался? Птичье Гнездо, что ли? Вы должны это помнить.

- Птичье Гнездо... Нет, - отвечает Тотеро.

– По-моему, это был один-единственный раз, когда мы их включили в программу соревнований. Там был такой смешной малюсенький квадратный спортзал, и зрители сидели на сцене. Какое-то забавное название.

– Птичье Гнездо, – повторяет Тотеро. Он озабочен. Он все время потирает ухо.

– Иволга! – вне себя от радости восклицает Кролик. – Средняя школа «Иволга». Такой маленький разбросанный городишко, дело было в начале спортивного сезона, так что было еще тепло и на полях торчали кучи кукурузы вроде вигвамов. И вся школа пропахла сидром, помню, вы еще насчет этого острили. Вы мне велели не принимать все это близко к сердцу, мы приехали попрактиковаться и вовсе не должны их расколошматить.

– У тебя память лучше, чем у меня, – говорит Тотеро.

Официант возвращается, и Тотеро, не дожидаясь, пока ему подадут, берет стакан прямо с подноса.

– Ну вот, – продолжает Кролик, – мы приходим и начинаем играть, а там эта пятерка фермеров топчется по площадке, и мы с ходу набираем пятнадцать очков, и я ничего не принимаю близко к сердцу. А на сцене сидит всего десятка два зрителей, и игра эта вовсе не зачетная, и все это не важно, и у меня появляется такое удивительное чувство, будто я могу все на свете, и мне надо только бегать просто так, пасовать, и больше ничего, и вдруг я вижу, понимаете, вижу, что действительно могу все на свете. Во второй половине я делаю всего каких-нибудь десять бросков, и каждый мяч летит прямо в корзину, не то что ударяет в обод, а даже и не задевает, будто я камушки в колодец бросаю. А эта деревенщина носится туда-сюда, они все мокрые, а запасных у них всего только двое, но наша команда не в их лиге, так что им тоже все равно, и единственный рефери наклоняется над краем сцены и разговаривает с их тренером. Средняя школа «Иволга». Вот так, а потом их тренер приходит в раздевалку, где переодеваются обе команды, достает из шкафчика кувшин сидра и пускает по кругу. Неужели вы не помните? – Как странно, даже смешно, почему они никак не могут понять, что в этом было такого особенного. Он снова принимается за еду. Остальные уже поели и теперь выпивают по второй.

– Да, сэр, Как-вас-там, вы и вправду милый мальчик, – говорит Маргарет.

– Не обращай внимания, Гарри, – замечает Тотеро. – Шлюхи всегда так разговаривают.

Рука Маргарет, оторвавшись от стола, пролетает мимо ее тела и бьет его прямо в зубы.

– Один – ноль, – хладнокровно произносит Рут.

Все происходит так тихо, что китаец, который убирает со стола тарелки, не поднимает головы и явно ничего не слышит.

– Мы уходим, – объявляет Тотеро и пытается встать, но натывается бедром на край стола, застревает и стоит, ссутулясь, как горбун. От удара рот его чуть-чуть скривился, и Кролик отводит глаза от этой двусмысленной болезненной смеси бравады, стыда и, что еще хуже, гордости, скорее даже тщеславия. С искаженных кривой ухмылкой губ слетают слова:

– Вы идете, дорогая?

– Сукин сын, – отзывается Маргарет; однако ее крепкое, как орешек, тельце выскользывает из кабинки, и она оглядывается посмотреть, не оставила ли она сигарет или кошелька. – Сукин сын, – повторяет она, и в невозмутимости, с какой она это произносит, есть даже что-то красивое. Вид у них с Тотеро теперь более спокойный, решительный и как бы даже суровый.

Кролик хочет выскочить из-за стола, но Тотеро поспешно кладет ему на плечо руку; твердое прикосновение этой тренерской руки Кролик, сидя на скамейке, частенько ощущал незадолго до того, как шлепок по спине отправлял его на баскетбольную площадку.

– Нет, нет, Гарри. Оставайся. Не все сразу. Пусть наша грубость тебя не смущает. Ты бы не мог дать мне на время машину?

– Что? Мне же без нее никуда не попасть.

– Да-да, ты прав, ты совершенно прав. Прости, пожалуйста.

– Да нет, я хотел сказать, что если она вам нужна... – Ему не хочется одалживать автомобиль, который принадлежит ему лишь наполовину.

Тотеро это понимает.

– Нет-нет. Нелепая идея. Спокойной ночи.

– Обрюзгший старый болван, – говорит ему Маргарет.

Взглянув на нее, Тотеро суетливо опускает глаза. Гарри видит, что она права, Тотеро и вправду обрюзг, лицо его искривилось, как спущенный баллон. Однако этот «баллон» смотрит на Кролика словно распираемый какой-то важной мыслью, тяжелой и бесформенной, как вода.

– Куда ты денешься? – спрашивает Тотеро.

– Все будет о'кей. У меня есть деньги. Я возьму номер в гостинице, – отвечает Кролик. Отказав Тотеро, он хочет, чтобы тот поскорее ушел.

– Дверь моей обители открыта, – говорит Тотеро. – Правда, там всего одна койка, но можно сделать матрас...

– Нет, нет, – резко возражает Кролик. – Вы спасли мне жизнь, но я не хочу садиться вам на шею. Все будет хорошо. Я и без того не знаю, как мне вас благодарить.

– Мы еще побеседуем, – обещает Тотеро; рука его дергается и как бы случайно шлепает Маргарет по заду.

– Я готова тебя убить, – говорит ему Маргарет, и они удаляются. Похожие со спины на отца с дочерью, они минуют стойку, возле которой шепчется с девушкой-американкой официант, и выходят сквозь стеклянную дверь, Маргарет впереди. Словно так и надо, словно они – деревянные фигурки, входящие и выходящие из старинного барометра.

– Господи, в какой же он скверной форме.



- А кто в хорошей? - интересуется Рут.

- Хотя бы вы.

- Вы хотите сказать, что у меня хороший аппетит?

- Послушайте, у вас какой-то комплекс насчет того, что вы такая большая. Вы совсем не толстая. Вы пропорционально сложены.

Она смеется, потом умолкает, смотрит на него, снова смеется, берет его обеими руками за плечо и говорит:

- Кролик, вы истинно христианский джентльмен.

Оттого что она назвала его по имени, его обдает волнующим теплом.

- За что она его ударила? - спрашивает он и хихикает, боясь, что ее руки, лежащие у него на плече, игриво ткнут его в бок. Ее крепкая хватка не исключает такой возможности.

- Ей нравится бить людей. Однажды она ударила меня.

- Наверняка вы сами напросились.

Она убирает руки и кладет их обратно на стол.

- Так ведь и он напросился. Ему нравится, когда его бьют.

- Вы его знаете? - спрашивает он.

- Она мне про него рассказывала.

- Это еще не значит, что вы его знаете. Эта девка глупа.

- Что верно, то верно. Вы даже и представить себе не можете, до чего она глупа.

- Еще как могу. Я женат на ее двойняшке.

- У-у-у! Женат.

- Слушайте, что вы там говорили насчет Ронни Гаррисона? Вы его знаете?

- А что вы там говорили насчет того, что вы женаты?

- Да, я был женат. И до сих пор женат.

Он жалеет, что заговорил об этом. Огромный пузырь, сознание чудовищности его положения теснит ему сердце. Так бывало в детстве, когда, субботним вечером возвращаясь домой, он вдруг осознавал, что все кругом – деревья, мостовая, – все это жизнь, единственная, неповторимая действительность.

- Где она?

Этого еще не хватало – попробуй-ка ответить на вопрос: куда могла пойти Дженис?

- Она, наверно, у своих родителей. Я только вчера ее бросил.

- А, так это просто отпуск. Вы ее не бросили.

- Да нет, пожалуй, бросил.

Официант приносит им блюдо кунжутных пирожных. Кролик на пробу берет одну штуку, он думает, что они твердые, и с удовольствием ощущает, как сквозь тонкую оболочку семян проступает мягкое тягучее желе.

- Ушли совсем ваши друзья? – спрашивает официант.

- Не беспокойтесь. Я заплачу, – отвечает Кролик.

Китаец поднимает свои вдавленные брови, морщит в улыбке губы и уходит.

- Вы богатый? - интересуется Рут.

- Нет, бедный.

- Вы и вправду собираетесь ночевать в гостинице?

Оба берут по несколько пирожных. На блюде их штук двадцать.

- Да. Сейчас я расскажу вам про Дженис. Я не собирался ее бросать до той самой минуты, когда я от нее ушел. Мне вдруг стало ясно, что иначе и быть не может. В ней пять футов шесть дюймов, она смуглая...

- Не желаю про нее слушать. - Голос Рут звучит решительно; когда она, закинув голову, вглядывается в светильники на потолке, ее разноцветные волосы приобретают однородный темный оттенок. Волосам свет льстит больше, чем лицу, - на обращенной к Гарри стороне ее носа из-под пудры проступают какие-то пятна или прыщи.

- Не желаете, - говорит Кролик. Пузырь скатывается с груди. Раз это никого не беспокоит, почему это должно беспокоить его? - О'кей. О чем мы будем говорить? Сколько вы весите?

- Сто пятьдесят.

- Да вы же просто крошка. Второй полусредний вес. Кроме шуток. Кому нужна кожа да кости? Каждому фунту вашего веса просто цены нет.

Он болтает просто так, от радости, но что-то в его словах заставляет ее насторожиться.

- Уж очень вы умный, - замечает она, поднимая к глазам пустой бокал. Это плоская вазочка на коротенькой ножке, вроде тех, в каких подают мороженое на пижонских вечеринках по случаю дня рождения. Бледные дуги отраженного света проплывают по ее лицу.

- Про свой вес вы тоже не желаете говорить. Гм. - Отправив в рот еще одно пирожное, он ждет, чтобы прошло первое ощущение острого вкуса желе. -

Ладно, переменим пластинку. Что вам требуется, миссис Америка, так это Чудо-Терка. Сохраняет витамины. Снимает излишек жиров. Один поворот пластмассового винта, и вы можете натереть морковь или наточить карандаши вашего супруга. Годится на все случаи жизни.

- Бросьте. Бросьте дурака валять.

- Ладно.

- Поговорим о чем-нибудь приятном.

- Ладно. Начинайте вы.

Она откусывает пирожное и смотрит на него, улыбаясь полным ртом и потешно опустив уголки туго надутых губ; когда она жует, на лице ее изображается безмерное удовольствие. Наконец она глотает, широко раскрывает круглые голубые глаза, коротко вздыхает, хочет что-то сказать, но вместо этого смеется прямо ему в лицо.

- Обождите, - говорит она, - сейчас. - Затем заглядывает в свой бокал, сосредоточенно думает, но наибольшее, на что она способна, - это заявление: - Не надо жить в гостинице.

- Придется. Скажите, какая лучше.

Интуиция подсказывает ему, что она много чего знает про гостиницы. Там, где ее шея незаметно переходит в плечо, белеет мелкая ложбинка, в которую, свернувшись клубочком, ложится его внимательный взгляд.

- Они все дорогие, - говорит она. - Все дорого. Даже моя маленькая квартирка и та дорогая.

- Где ваша квартира?

- Тут неподалеку. На Саммер-стрит. Второй этаж, над кабинетом врача.

- Вы там одна живете?

- Да. Моя подруга вышла замуж.

- Как же вы платите за квартиру, если нигде не работаете?

- Что вы хотите этим сказать?

- Ровно ничего. Вы же сами говорили, что нигде не работаете. Она правда дорогая?

Рут смотрит на него с той любопытной настороженностью, которую он заметил с самого начала, еще возле счетчиков на автостоянке.

- Квартира, - поясняет он.

- Сто десять в месяц. Не считая света и газа.

- И вы нигде не работаете.

Она смотрит в бокал и раскачивает его обеими руками, отчего отраженный свет пробегает по краю стекла.

- О чем вы думаете? - спрашивает Кролик.

- Просто удивляюсь.

- Чему?

- Какой вы умный.

Не поворачивая головы, он чувствует дуновение легкого ветерка. Ага, вот куда она клонит, а он еще сомневался.

- Ну так вот что я вам скажу. Почему бы мне не помочь вам уплатить за квартиру?

– С какой стати?

– По доброте сердечной, – отвечает он. – Десятку?

– Мне нужно пятнадцать.

– За свет и газ. О'кей, о'кей.

Ему не совсем ясно, что делать дальше. Они сидят и смотрят на пустое блюдо, где лежала пирамидка кунжутных пирожных, – они их все съели. Появившийся официант удивленно переводит глаза с блюда на Кролика, с Кролика на Рут – все это в течение секунды. Он подает им чек на девять шестьдесят. Кролик кладет на чек десятку и доллар, а рядом еще десятку и пятерку. Он подсчитывает, что остается в бумажнике, – три десятки и четыре доллара. Когда он поднимает голову, деньги Рут уже исчезли с полированного стола. Он встает, берет ее мягкое пальтишко, подает ей, и, словно большая зеленая рыба, его добыча тяжело поднимается, выходит из кабинки и безучастно позволяет надеть на себя пальто. По десять центов фунт, подсчитывает он.

И это сверх ресторанного счета. Подойдя со счетом к стойке, он протягивает девушке десятку. Она хмуро отсчитывает сдачу; жуткая пустота ее глаз аккуратно обведена тушью. Простое лиловое кимоно никак не вяжется с пружинистым перманентом и нарумяненным испитым лицом с типично американской кислой миной. Когда она кладет монеты на розовое блюдце для сдачи, он отмахивается от кучки серебра и, добавив еще доллар, показывает на молодого китайца, который торчит возле девушки, не спуская с них глаз.

– Польшое спасипо, сэр. Польшое спасипо, – говорит он Кролику. Однако его благодарности не хватает даже на то время, в течение которого они успевают скрыться из виду. Когда они направляются к стеклянной двери, он поворачивается к кассирше и тонким голосом с тщательно отработанными интонациями продолжает свой рассказ: «...и тогда тот второй парень ему говорит...»

Вместе с этой самой Рут Кролик выходит на улицу. Справа, в сторону от горы Джадж, сияет центр города – путаница огней, обведенные неонами контуры: башмак, земляной орех, цилиндр, реклама пива «Подсолнечник» – зеленый

неоновый стебель высотой с шестиэтажное здание и желтая, как вторая луна, сердцевина цветка. Кварталом ниже слышатся торопливые монотонные удары колокола, слагбаум на железнодорожном переезде – два длинных ножа с красными кончиками, – опускаясь, врезается в мягкую массу неона, и движение, постепенно замедляясь, останавливается.

Рут сворачивает налево, в тень горы, Кролик следует за ней; они идут вверх по скрипучей мостовой. Покрытый асфальтом склон – точно погребенный голос, нежданное эхо земли, которая была здесь задолго до города. Мостовая кажется Кролику тенью прозрачного дайкири; ему весело, и он подпрыгивает, чтобы попасть в ногу со своей дамой. Ее глаза обращены к небу, в котором яркое созвездие гостиницы «Бельведер» смешивается со звездами над горой Джадж. Они шагают молча, а позади с пыхтением и скрежетом ползет через переезд товарный состав.

Ага, вот в чем дело – сейчас он ей явно не нравится, совсем как той шлюхе в Техасе.

– Слушайте, вы хоть раз поднимались на вершину? – спрашивает он.

– Ну да. В автомобиле.

– Когда я был маленький, – говорит он, – мы часто ходили наверх, только с другой стороны. Там такой густой мрачный лес, и однажды я наткнулся на развалины старого дома – просто дыра в земле да несколько камней; наверняка ферма какого-нибудь пионера.

– Я была наверху только раз, ездила на машине с одним нахальным типом.

– С чем вас и поздравляю, – отзывается он, раздосадованный той жалостью к себе, которая таится под ее резким тоном.

Чувствуя, что он это понял, она огрызается:

– На что он мне сдался, этот ваш пионер?

– Не знаю. Пригодится. Вы ведь американка.

– Подумаешь! С таким же успехом я могла бы родиться мексиканкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/dzhon-apdayk/krolik-begi/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

----

Купить: <https://tellnovel.com/dzhon-apdayk/krolik-begi-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)